Андрей ДЫШЕВ

ВОЕННАЯ ДРАМА

ВОЙНА
красива и нежна

Андрей Михайлович Дышев
Война красива и нежна
Серия «Военная драма»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6995341
А. Дышев. Война красива и нежна: Эксмо;

Аннотация

Один Бог знает, как там – в Афгане, в атмосфере, пропитанной прогорклой пылью, на иссушенной, истерзанной земле, где в клочья рвался и горел металл, где окровавленными бинтами, словно цветущими маками, можно было устлать поле, где бойцы общались друг с другом только криком и матом, – как там могли выжить женщины; мало того! Как они могли любить и быть любимыми, как не выцвели, не увяли, не превратились в пыль? Один Бог знает, один Бог… Очень сильный, проникновенный, искренний роман об афганской войне и о любви – о несвоевременной, обреченной, неуместной любви русского офицера и узбекской девушки, чувства которых наперекор всему взошли на пепелище. Книга также выходила под названиями «“Двухсотый”», «ППЖ. Походно-полевая жена».

Содержание

Глава последняя 5
Конец ознакомительного фрагмента. 100

Андрей Дышев
Война красива и нежна

Андрей Дышев

* * *

Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды
Автор

Глава последняя

Начальник политотдела, олицетворение моральной чистоты, эталон безупречного поведения в службе и в быту, еще раз обрушил свой тяжелый кулак на дверь. Алкоголь притупил восприимчивость, и полковник не почувствовал боли.

– Герасимов, открывай!

Подполковник Куцый, заместитель начпо, стоял рядом и, сжимаясь, подобно потревоженной улитке, с трепетом ожидал развязки. Его внешность оправдывала фамилию. Подполковник в сравнении со своим начальником выглядел мелким, каким-то пришибленным, недоразвитым. У него были узкие плечи, настолько узкие, что даже свисали края погон. Песочного цвета куртка-афганка скукожилась на рахитичной груди. И голова была мелкая, сплюснутая с боков.

– Вот же сука! – пробормотал главный коммунист дивизии и ударил в дверь еще раз.

Казарма затаилась. Солдатам, которые оказались свидетелями этой сцены, было интересно. Редкостное зрелище! Большой начальник пытается взять командира шестой роты старшего лейтенанта Герасимова с поличным.

Куцый, как и положено активной шестерке начальника политотдела, стал проявлять усердие.

– Дневальный! Герасимов точно у себя? – крикнул он солдату, который стоял у тумбочки и с трудом подавлял веселье.

– Так точно, товарищ подполковник. У себя.

Солдаты бродили по казарме, делая вид, что заняты своими делами. Всем было страшно интересно, чем же все закончится?

– Наверняка пьян и спит, – предположил Куцый. – На парткомиссии сгною…

– Старшину сюда! – взревел начпо.

– Старшина!! – громче подтявкнул Куцый.

Старшина Нефедов не обнаружился. Он знал о происходящем и наблюдал за обстановкой издалека. Начальник политотдела был ему до лампочки. Как собственно, любой штабной офицер. Нефедов не состоял в партии, комсомол тоже ему на хер не нужен был. На криминале его ни разу не поймали. Прицепиться к прапорщику было трудно. Он не пропустил ни одной войны – а чем здесь еще можно было испугать?

– …твою мать!! – теряя контроль над собой, взревел начпо. Его мрачное, одутловатое лицо побагровело. – Здесь есть кто-нибудь из офицеров? Монтировку мне!!

– Боец, бегом принеси лом!! – срываясь на фальцет, крикнул Куцый дневальному.

Приближался финал. Сладкая развязка. Клетка захлопнулась, и птичка, наконец-то, попалась. Куцый лично видел, как Герасимов провел в распоряжение роты медсестру из медсанбата Гульнору Каримову. Десятки раз ему доносили об отношениях командира шестой роты и медсестры стука-

чи, но впервые Куцему удалось увидеть это собственными глазами.

– Не стой! Сбегай за ломом! – прохрипел начпо. Он сам уже не рисковал отойти от двери, чтобы не упустить птичку. Куцый метнулся к выходу из модуля, хватая за рукава всякого солдата, оказавшегося рядом: «Лом! В этой гребанной роте есть лом или нет? Бегом лом мне!» Обделенный умом, он не понимал, что выглядит смешно и нелепо, и солдаты едва скрывают улыбки.

Кто-то принес штыковую лопату.

– Взламывай! – приказал солдату начпо.

Солдат был молодым, потому попался под руку Куцему. Он еще боялся начальников больше войны, и потому без промедления воткнул ржавый штык между наличником и дверью. Дверь заскрипела. Солдат осторожно надавил на черенок. В душе бойца метались противоречивые чувства. С одной стороны он тупо следовал приказу. Но в то же время краем мозга осознавал, что за сломанный замок придется отвечать перед командиром роты.

Дело застопорилось. У начпо повысилось артериальное давление от нетерпения. Он во всех деталях представлял себе эту сладостную сцену: трррах! дверь срывается с петель, и он видит бледного, затравленного Герасимова. Офицер стоит посреди кабинета и торопливо застегивает ширинку. Где-то в углу, пытаясь уменьшиться в размерах, раствориться, стать невидимой, мечется, путается в одеждах Гуля

Каримова. У нее заела молния на джинсах, никак не удается застегнуть их. Белый батник с вышитыми на груди желтыми звездами надет наизнанку, воротник перекосило, в разрезе виден лифчик со спутавшимися лямками. Смазливая кукла, судорожно комкающая свой открывшийся всем позор… Но нет, нет, Гуля меньше всего интересует начпо! Он глянет на нее только мельком, губы его дрогнут в презрительной усмешке, и он тотчас переведет взгляд на Герасимова. Вся спесь сойдет с этого пацана в этот постыдный момент. Вся его напускная гордость исчезнет без следа! Начпо посмотрит в глаза ротного – в них будет раскисать самая лакомая его добыча, ради которой он сейчас раздувается перед обитой авиационным дюралем дверью. Страх и унижение, жалкий взгляд побежденного – вот что надо было начальнику политотдела. Увидеть страх и унижение в глазах Герасимова! Кто-нибудь может себе представить это величайшее удовольствие?

Этот момент был слишком близок, чтобы у начпо хватило терпения смотреть на то, как солдат ковыряет кончиком лопаты в дверной щели. Он выхватил лопату у солдата и со всей дури ударил в середину двери. Куцый на всякий случай отступил на шаг – начпо мог нечаянно задеть его древком. Грохот разлетелся по казарме. Солдаты уже не бродили, они держались на приличном расстоянии, глядя на полковника, как на клоуна посреди цирковой арены.

– Герасимов!! – рявкнул начпо, в последний раз предлагая

ротному добровольно сдаться.

И тут произошло нечто необъяснимое. Кто-то приблизился к начальнику политотдела со спины – слишком близко, явно перейдя черту субординации.

– Вызывали, товарищ полковник?

Начпо опустил лопату и повернул голову. Перед ним стоял Герасимов. Старший лейтенант Герасимов, командир шестой роты. Сухой, как вобла, коричневый от солнца, постриженный наголо. И эти глаза, эти поганые бесстрашные глаза, холодные, бесстрастные, как стекляшки с бездонной синевой.

Начальник политотдела едва сдержался, чтобы не ударить Герасимова штыком – в переносицу, точь-в-точь между этих нахальных глаз. Опустил лопату. Сердце колотилось с частотой сто сорок ударов в минуту. Полковника корежило от ненависти.

– Где был? – едва разжимая зубы, процедил начпо.

– В медсанбате на перевязке, – спокойно ответил Герасимов.

– Ты, плядь, почему не открывал, мы к тебе уже полчаса ломимся!! – закричал Куцый.

Солдаты, наблюдавшие за происходящим, прыснули от смеха. Куцый стал малиновым. Начпо мысленно выругался в адрес своего заместителя, редкостного дегенерата, подвинул его локтем в сторону, встал едва ли вплотную к Герасимову, прикоснувшись к нему округлым животом.

– Пьян?

– Трезв.

Начпо сжал кулаки. Он знал, что Герасимов врет, врет, врет, у него рыльце в пушку, он тоже подонок, тоже трус, тоже плядун, вор, пьяница и скотина! Такой же, такой же! Ничуть не лучше остальных, ни на граммульку, ни на капельку. Потому что здесь все такие, все до одного! Но, подлец, не сдается, не колется, не скручивается в узел под гнетущим взглядом начпо. Ну, говно, все равно сломаю! Все равно размажу по плацу! Хер тебе, а не второй орден! И заменишься ты у меня в Забайкалье, в самый гнилой гарнизон, и там, уёпище, будешь свою гордыню демонстрировать до конца жизни!

– От тебя пахнет водкой! – пророкотал начпо.

– Вы ошибаетесь.

Идиотская лопата! Куда ее теперь деть? Солдаты ухахатываются. Ублюдочная рота! Ублюдочная дивизия! Эти уроды не почитают офицера с большими звездами. Начпо для них – хер собачий! В Союзе при виде начальника политотдела молодые солдаты ссутся от страха. А здесь возомнили себя героями, никого не боятся. Вы, скоты, у меня попляшете. Вы у меня из боевых выползать не будете! Вы у меня месяцами на точках гнить будете! Чтоб вы все обосрались от дизухи и тифа. Черти грязные!

– Куцый, очистите казарму, – произнес начпо, давясь словами.

– Пошли все вон!! – завопил Куцый.

Начпо навалился на Герасимова взглядом. Этого взгляда боялись почти все офицеры. Особенно те, кто делал себе карьеру, планировал поступать в академию или мечтал заменяться в престижный округ – в Одесский или, скажем, Киевский. Герасимов, сучонок, был еще молод для академии. Должность комбата не выпрашивал. Хорошее местечко в Союзе не высматривал. Он вообще ничего не хотел. Завел себе, гаденыш, бабу, сожительствует с ней, и думает, что будет как сыр в масле, пока не надоест. И пофиг ему начальник политического отдела дивизии… Ничего. Не таких здесь ломали. Герасимов коммунист. А эта удавка пострашнее войны. В Союзе у него жена. Здесь – ППЖ, Гуля Каримова. На партийном языке это называется аморальное поведение. В два счета можно вылететь из партии. А исключение из КПСС врагу не пожелаешь. Конец карьере. В академию не поступишь, должность не получишь. Будешь до конца своих дней торчать в каком-нибудь вшивом гарнизоне. Начпо запросто может поломать Герасимову жизнь. Запросто!

Он схватил ротного за куртку, попытался притянуть к себе. Почувствовал хорошо выраженное сопротивление. Характер показывает, дерьмо! Сгною! Раздавлю… Ва-а-а, да от него духами смердит! Он только от бабы оторвался. Она в его кабинете…

– Там, там, – кивнул Куцый, поймав вопросительный взгляд начальника. Куцый своей головой отвечал за эту охо-

ту. Он видел, как Герасимов привел в расположение роты медсестру. Деться ей было некуда. Мышеловка захлопнулась.

– Вы хотите зайти в кабинет? – спросил Герасимов.

Красивый, подлец! – мысленно отметил начпо. Сухощавый, черты лица правильные, брови черные, ровные, почти сросшиеся над переносицей. И взгляд – хоть икону пиши. Весь в себе, с достоинством и умом. Совершенно самодостаточный тип. А у начпо фигура грузная, тело рыхлое, с животом уже бесполезно бороться. Волосы редкие. А что вы хотите – на двадцать лет старше Герасимова. Но у начпо власть. Он таких сынков, как Герасимов, горстями ломал, с легкостью убеждая, что все его офицеры выпачканы в войне, и нет никого, кто остался бы чистым. На реализации разведданных дома грабил? Нет? Хорошо. Значит, задержанных афганцев обыскивал и афгани у них отнимал. И этого не было? Ладно. Значит, сдавал в дуканы сгущенку, сигареты и тушенку из продпайка. Не сдавал? Черт с тобой, но сам-то в дуканах отоваривался? На чеки Внешпосылторга, предназначенные только для наших военторговских магазинов, джинсы покупал? Что, и этого не было? Ну, это уже фантастика. Но, допустим, допустим, допустим! А с бабой из медсанбата (военторга, столовой, политотдела и т. д.) спишь? Жене своей изменяешь? Даже если и этого не было, то ты все равно не святой, ты пьешь водку, ты нарушаешь правила хранения оружия и боеприпасов, и в роте у тебя бардак, и неуставные

взаимоотношения среди солдат, и вши, и нарушения правил гигиены, и чарс бойцы покуривают… В общем, клейма ставить негде.

– Открывай кабинет, Герасимов!

Он звякнул ключами, аккуратно вставил ключ в личину. Какая выдержка! Начпо почуял неладное. Герасимов распахнул дверь, отошел в сторону. Начпо, а следом за ним Куцый, зашли в кабинет. Рабочий стол, самодельный диван из водительских сидений, платяной шкаф, решетка на окне.

Начальник политотдела почувствовал, что ему не хватает воздуха. Этот сопляк издевается над ним! Он смеет упорствовать. Он выскальзывает из рук, как угорь.

– Куцый!! – сдавленно произнес начальник политотдела.

Подполковник, округлив глаза, пожал плечами.

– Я сам видел…

Начпо отворил створку шкафа. На пол посыпались скоросшиватели. Развернувшись, начпо молча вышел из кабинета. Куцый засеменил за ним. Ну, сучонок, держись! Солдаты прятали глаза, скрывая бесноватое веселье. Начпо скрипел зубами. Остановился, схватил кого-то за локоть.

– Солдат, почему подворотничок грязный?!

Не к тому прицепился. Этот на полголовы выше полковника и, судя по равнодушному взгляду, дембель. Дембеля в Афгане ничем не возьмешь. Ему все похер. Он прошел войну, он рисковал жизнью, ему через две недели домой. Клал он на начпо с высокой башни. Голый жилистый торс блестит

от пота. На правом плече мутная наколка: «ДРА – ОКСВА» и орел какой-то дегенеративный с непомерно большой головой.

«Где-то я этого бойца уже видел», – подумал начпо, направляясь к выходу.

– А я только с реализации вернулся, товарищ полковник, – ответил солдат, искривляя рот, словно за щекой у него каталась жвачка. – Потому и подворотничок грязный.

Это он так улыбался – половиной рта. Опухоль еще не сошла, если пощупать щеку, то внутри нее перекатывался твердый шарик, напоминающий горошину. Недавно всей ротой смотрели – в двадцатый раз, наверное! – фильм «Афоня», и на том эпизоде, где Куравлев рассказывает девушке, как он глазом о самолет ударился, все взорвались смехом: «Кудрявый, это почти, как ты!» Кудрявый ударился щекой о боевую машину пехоты. Точнее, о ее пушку. Роту обстреляли под Центральным Багланом, бойцы распластались по броне, открыли ответный огонь, наводчик орудия развернул башню в сторону дувалов, и пушка с размаху Кудрявого по роже – хрясь! Гематома была такой, что заплыл глаз, превратился в щелочку. «Бля, как с такой рожей на дембель?!» Санинструктор посоветовал под холодным душем постоять полчаса. Кудрявый так и сделал. Только вернулись, первым побежал в баню. Подергал за ручку – душевая заперта изнутри. Тут бойцы потянулись, кто первым сдал оружие, магазины, оставшиеся гранаты и сигнальные ракеты. Грязные

до черноты, прокопченные солярной гарью, пропыленные, липкие от загустевшего пота – полотенце на шею, мыло в кулак и вперед, в ротную баню, сколоченную из снарядных ящиков, собственность и гордость шестой роты. А Кудрявый с заплывшей рожей стоит у запертой двери, за ручку дергает: «Что за плядь там заперлась?» Дневальный подбежал, страшное лицо сделал: «Мужики, там начальник политотдела! Курите покедова!» Но тут подошел командир роты Герасимов. Тоже в трусах и с полотенцем на шее. «Почему стоим? Какой еще начальник политотдела? Баня истоплена для нас. Кудрявцев, взломай дверь!» Кудрявцев вооружился гаечным ключом из ЗИПа, просунул его под дверную ручку, чуть приналег плечом, и дверь распахнулась. В предбаннике сразу образовалась толчея, грязные трусы полетели в кучу, жопастые дистрофики ринулись в душевую. Опаньки! А оттуда выкатились две распаренные, лоснящиеся рожи. Начальник политотдела, красный, как клубника, и Танька-машинистка. Оба замотаны в простыни, мокрые волосы торчат во все стороны, глаза испуганы, бегают туды-сюды. «Вон отсюда!! – рявкнул начпо. – Герасимов, хер моржовый, какого куя ты сюда эту ораву запустил?!» Бойцы заржали. Кто впереди был, на машинистку вылупились. Баба почти голая, простыня мешает подробности рассмотреть. Стоит, скосолапившись, не слишком-то стыдясь, только губки брезгливо надувает: солдатня вонючая удовольствие испортила. Кудрявый одним глазом все ее контуры, изгибы и выпуклости в се-

бя впитал, руками крепко мужское естество обхватил – хорошо, что не успел намылить, не удержал бы. «Воооон!!» – бегемотом заорал начпо. Но его никто особенно не испугался. В простыне он вовсе на начальника не похож. Так, мужичишка пузатенький, рыхлый, молочный, как плавленый сырок. А Танька – ах, какая конфетка, леденец, ягодка! Какая мокренькая, скользкая, мягонькая, руками бы ее всю облапить, об себя потереть, вверх-вниз, туда-сюда, да прижать, сильно-сильно, и всю эту застоявшуюся, мучительно-нудную войну – фрррру, долой, до конца, до капли, как из пулемета… «Герасимов, сука, урод!! Ко мне в кабинет через полчаса!! – плевался словами начпо. – С партбилетом!!» Бойцы попятились. Просоляренная худоба с белыми ягодицами, исцарапанными, обкусанными, изъязвленными руками, с черными лицами, оплеванными войной, сожженными остроугольными плечами, выдавилась из бани. Дверь с треском захлопнулась. «Товарищ старший лейтенант, извините!» – оправдывались солдаты перед Герасимовым. Они понимали, что за это удивительное зрелище расплачиваться будет их командир. Но зато какое зрелище! Вот потому Кудрявый не смог сдержать улыбки, когда встретил начпо в коридоре, и улыбнулся ему криво – по-другому не мог. Презрение не утаишь, да и зачем таить? Начпо – говно, его заместитель – тоже. Начпрод – говно, замполит батальона – тоже говно. Многие офицеры – говно. Только Герасимов настоящий мужик. Свой в доску. Он, собственно, такой же солдат, все через се-

бя пропустил, весь Афган на брюхе исползал. Жаль только, что коммунист. Коммунист – это все равно, что под пули идти без броника, без боеприпасов, без гранат, без каски. Голяком. Босиком по колючкам. И всякая шваль вроде начпо может с тобой что угодно сделать.

Кудрявый вынул из кармана осколок зеркала, потер его о штанину, посмотрел на свою щеку. До дембеля пройдет. До дембеля совсем чуть-чуть. В зеркале мелькнул серо-зеленый борт вертолета. Пара Ми-двадцатьчетверок, разрывая лопастями воздух, пролетели над полком, заложили вираж и пошли в облет посадочной полосы. Борттехник Викенеев снял со штыря пулемет, с грохотом опустил его на рифленый пол. Потом ухватился за края створки и выглянул наружу. Внизу, на голом, желто-сером плато, разлинованном оградами из колючей проволоки, высыхала под солнцем база. Ровными рядами стояли пеналы щитовых модулей, игрушечная техника, по окружности тянулся пунктир окопов охранения. Вертолет накрыл базу своей тенью, накренился на бок и заложил новый вираж.

– Винтомоторная группа в норме! – доложил он командиру вертолета и ударился головой о потолок кабины. Хорошо, был в шлеме.

Теперь пара неслась над расположением эскадрильи. Зачехленные вертолеты, млеющие на стоянках, с высоты были похожи на затаившихся пауков. Стремительным жучком через взлетную полосу к вертолетным стоянкам несся УАЗ

командира эскадрильи. Сверху все казалось мелким и безобидным. Ведущий вертолет уже приземлился и пополз по металлической решетке, будто пятнистая ящерица. Викенеев снял с головы шлем, отсоединил кабель. Командиру эскадрильи уже доложили. Сейчас начнет грузить по полной программе. Он требует от вертолетчиков результатов и точности. Но точность попадания достигается только маленькой высотой. А маленькая высота – риск. Викенеев и все другие нормальные вертолетчики ненавидели Афган. Эту убогую землю они старались держать от себя на расстоянии, и чем больше расстояние, тем лучше. Летать над Афганом – все равно, что общаться с грязным, вонючим и агрессивным бомжем. Пусть хрипит и брызгает слюной – но на приличном расстоянии. С большой высоты Афган смотрится привлекательно и безобидно. Дома, верблюды, деревья – словно игрушечные. Вертолетчики любят игрушки, у них затянувшееся детство.

Обороты на ноль. Отключение подачи топлива. Отключение электропитания… Провисшие лопасти стали замедлять свой бег по кругу. В раскаленном редукторе еще что-то булькало и переливалось, но двигатель уже начал остывать. Откинулась потертая крышка фонаря, из кабины, похожей на стеклянный гроб, выбрался оператор-наводчик. Командир – через пассажирскую кабину. Когда гаишник ругает за то, что водитель проехал на красный свет, – это не унижает достоинство мужчины. Но вот когда комэска говорит, что у вертоле-

та была слишком большая высота, это равносильно обвинению в трусости. Ну что он кричит на этих парней в песочных комбезах? Не хотят они опускаться ниже, в гробу они видали этот Афган, где из каждого кишлака могут влупить по вертолету из ДШК, и горячая очередь пропорет брюхо вертолета, перебьет электропроводку, топливные патрубки, разворотит редуктор, и отяжелевшая махина, нелепо хватаясь за воздух спутанными лопастями, рухнет вниз, и шиздец игрушкам, прощай детство!

– Вы «каплю» не туда положили, – сказал комэска уже тише.

Командир вертолета все знает. Он мнет панаму, со скучающим видом смотрит на свои ботинки. Ему насрать на то, что он сбросил бомбу на мирный кишлак. Не на свой же квартал, где живет его семья! Он вообще всерьез не воспринимает серые рисочки и кубики, рассыпанные по земле. Он никогда не видел дувал вблизи. Афган для него – мультипликация, декорация для кукольного театра. Он живет в эскадрилье, в седьмой палатке, рядом с баней и диспетчерской вышкой. Он пьет спирт, читает художественную литературу, часто стирает шмотки и придумывает новые ухищрения, как провезти в Союз чеки, джинсы и дубленки, а назад – водку. В бензобаке уже трудно, таможенники пронюхали, да и пехота жалуется, что водка сильно отдает бензином. Но вертолет – страна чудес. Там есть много лазеек, куда таможеннику не добраться. Например, специальные лючки, опечатанные

печатями. Под этими лючками – секретная аппаратура, срывать пломбы и открывать лючки запрещено даже таможенникам. Но командир вертолета знает, как открыть лючок, не повредив пломбы. А туда можно два тюка с джинсами спрятать.

– Иди, Душман, иди. Нет у меня ничего, – сказал вертолетчик мелкому, скрюченному псу цвета застиранного комбинезона и потрепал собаку за ухом.

Пса по кличке Душман командир вертолета привез с собой из Союза. Отправляясь в Афган, сунул в сумку вместе с бутылками пива. Сам даже не понял, зачем это сделал, зачем ему такое страшилище, жертва хаотических случек? Подохнет, подумал командир, поднимая вертолет в воздух и беря курс на Афганистан. Но Душман прижился на новом месте и, свернув кренделем свой облезлый хвост, каждое утро сопровождал вертолетчиков от палаток до летного поля. Кормился он объедками со столовой и, будучи единственной бродячей собакой на базе, ходил где вздумается, беспрепятственно помечая пахучей мочой бетонные столбы с колючей проволокой.

– Душман! Душман! Ко мне! На! На! – поманил пса затосковавший от скуки часовой.

Пес, не останавливаясь, перемахнул через заграждение (он знал, что у часовых ничего с собой не бывает, они только делают вид, что протягивают угощение), перебежал дорогу, вспаханную танковыми траками, на приличном расстo-

янии обежал КПП штаба дивизии (оттуда иногда швыряли в него камнями) и легкой трусцой устремился к казармам. Как-то его там угостили сгущенкой – вкуснейшая вещь! Солдат, горько пахнущий гусеничной техникой, патроном продырявил банку в двух местах, перевернул ее над лохматой собачьей мордой, и потекла вязкая бело-серая струйка с головокружительным дурманящим запахом. Ах, с каким упоением Душман вылизывал свою липкую грудку, тер лапами по макушке и ушам, а потом сладко их обсасывал. Солдаты хохотали, лили сгущенку псу на хвост, спину, а он был рад, аж поскуливал от счастья, кружился волчком, пытаясь ухватить зубами хвост, превратившийся в безумное лакомство. Потом у него закружилась голова, он упал в тени модуля и лениво клацал зубами, отгоняя надоедливых мух.

Может, еще раз угостят?

Он подбежал к модулю, посмотрел по сторонам, но никого не увидел. Сел напротив окна, свесил язык. Жарко. Тихонько тявкнул. Герасимов, следивший из окна своего кабинета за начпо и Куцым, увидел Душмана. «Погоди, у меня сосиски остались!» Импортные баночные сосиски были отвратительными на вкус, пересоленные, и по консистенции напоминали прессованный клейстер. Эту дрянь принес старшина роты Нефедов – больше нечем было закусить. Герасимов открыл окно, затем поднял решетку (она была закреплена только вверху и лишь создавала иллюзию своей незыблемости) и бросил собаке сосиску. Затем вернул решетку в преж-

нее положение и закрыл окно.

Он подошел к тумбочке, сдвинул ее в сторону, затем подцепил лезвием ножа край линолеумного квадрата. Это была крышка люка, закрепленная на полу двумя петлями.

– Ты там не уснула?

Под крышкой была яма. Не слишком глубокая, сантиметров семьдесят, да в ширину на два локтя. В яме жила желто-зеленая жаба, старая-престарая. Но сейчас постоянную обитательницу нельзя было увидеть. В яме на корточках сидела молодая женщина. Это Гуля Каримова, медсестра из медико-санитарного батальона, подруга Герасимова, его походно-полевая жена, главная причина моральной деградации офицера.

Он подал ей руку.

– Я думала, он найдет меня.

– Об этом погребе никто не знает, кроме нас с тобой.

Она отряхивала джинсы. Совсем новенькие, два дня назад купила в дукане у Паленого. Герасимов кончиком ботинка подцепил крышку. Жаба, сверкая глазками-бусинками, смотрела на него со дня ямы. Крышка захлопнулась.

– Пощупай мои руки, – сказала Гуля. – Я замерзла.

Он взял ее ладонь, притянул к себе, обнял худенькие, угловатые плечи. Жалость волной прошла по груди, поднялась к глазам. В горле запершило. Она унижается только ради него. Лично ей наплевать, если начальство увидит ее в кабинете командира роты. Ей за это ничего не будет. Даже мо-

рального груза она не почувствует. Даже если ее застукают голой. Гуля женщина свободная, к тому же в партии не состоит. А вот ему могут поломать карьеру, сослать в гнилой забайкальский гарнизон, понизить в должности. И, конечно, начнутся гадкие разбирательства с женой… Да, с женой…

Гуле было странно думать о жене Герасимова. Она никак не могла поверить в то, что у Герасимова есть жена. Бред какой-то! В Союзе его ждет какая-то другая женщина, которая без утайки, на всех законных основаниях будет с ним жить, ложиться к нему в постель, распоряжаться его зарплатой, стирать его рубашки и журить его за позднее возвращение с работы. Это какая-то выдумка, зазеркалье, плохой сон. У Герасимова только одна женщина – она, Гуля Каримова. Просто их семейная жизнь имеет некоторые особенности, ее нельзя выставлять напоказ, о ней нельзя рассказывать посторонним, и срок жизни этой семьи ограничен сроком службы в Афгане. Вот такие странные особенности у этой семьи.

Герасимов пихнул под диван нагрудную раскладку, «лифчик», как ее называли, битком набитую магазинами, раскрутил винт и опустил спинку. Гуля закрыла глаза, когда он лег на нее. Она всегда в такие минуты закрывала глаза. Это особенность всех женщин? – мимолетно подумал Герасимов. А как его жена? Она тоже так делает? Да он и не видел никогда ее лица *вот так*. Они никогда не занимались любовью при свете.

В дверь постучались. Гуля протяжно вздохнула, слабо от-

странила Герасимова от себя.

– Сегодня неудачный день, – прошептала она. – Лезь в окно, а мне снова в яму.

– Кто?! – крикнул Герасимов.

– Товарищ старший лейтенант! – раздалось в ответ. – Вас командир батальона вызывает.

Подождет. Комбат, капитан Мельников, человек терпеливый. Во всяком случае, никогда ломиться в чужой кабинет не станет.

Герасимов встал, подошел к окну, приоткрыл створку, закурил заплесневелый «Ростов» из офицерского пайка. Он слышал, как Гуля взяла чайник, а затем звонко ударили струи воды о дно ведра. Завершающие аккорды симфонии любви. Почти целый год было так. Гуля встречала его с рейдов, с реализации, с сопровождения колонн, смешивалась с толпой солдат у входа в модуль, и с этим бряцающим потоком, с этой пыльной желтой рекой, пахнущей грубым потом и солярной гарью, проникала внутрь. И летела джинсово-батниковым инородным телом по проходу мимо двухъярусных коек, мимо зарешеченной, как ментовский «обезьянник» оружейной комнаты, обитой железом каптерки, вечно красной ленинской комнаты в канцелярию командира роты. А со всех сторон, и в спину, и в лицо – обстрел солдатскими взглядами, очарованными, похотливыми, завистливыми, участливыми, ошеломленными, глупыми – всеми возможными калибрами. Многих она уже знала: привет, Куд-

рявый! Снова ссадину ковырял? Занесешь инфекцию, и так морду разворотит, что мама родная не узнает… Здравствуй, Цыпа, здравствуй. Тебя брали на боевые? Значит, ты уже не чмырь, ты настоящий боец… Касимов, здороваться надо! Привет, парни, привет! Я очень рада, что у вас без потерь…

Потом, стараясь хоть как-то сдержать дыхание да приструнить гарцующее сердце, робко толкала дверь канцелярии, словно «сынок», почему-то на цыпочках заходила, будто Герасимов спал или проводил совещание, прикрывала за собой дверь, а дальше надо было побыстрее-побыстрее обнять его, прижаться к его землистой шее, чтобы спрятать дурацкие, однообразно повторяющиеся, мучительно надоевшие слезы. «Гуля, осторожно, я четыре дня не брился!» Канцелярия стала их островком, маленьким миром, принадлежащим только им двоим. Герасимов вырыл погреб – копал по ночам, не привлекая солдат. Потом придумал поднимающуюся решетку на окне. Потом соорудил диван из водительских сидений, который легко превращался в двуспальную кровать…

Год пролетел, как брачная ночь. Ее сухие, с остренькими трещинками губы, ее шепот, крепко прикушенный стон, закрытые глаза, плеск воды над ведром, шелест одежды стали содержанием его второй половины жизни. Первой половиной была война. Гадкая, отвратительная, порочная, осточертевшая сверх всяких пределов, нашпигованная инфекционными болезнями и ублюдочными начальниками… В Союз! Скоро в Союз. В нормальный, цивилизованный мир, где

можно спокойно, без оружия, ходить по улицам, где в магазинах полно водки, где повсюду кишат толпы женщин с открытыми лицами, голыми руками и ногами, и к ним запросто можно подойти, спросить время, улицу или остановку автобуса, и они разомкнут накрашенные губы и певуче произнесут понятные слова, и повсюду зеленые деревья со свежей влажной зеленью, и фонтаны, и газоны, и розы, и пиво, и докторская колбаса, и можно упасть под куст, раскинуть руки, уставиться пьяно-счастливыми глазами в небо и слушать, как сигналят машины, скрипят трамваи, цокают каблуками по асфальту женщины… СССР – страна женщин и водки. СССР – это рай… Скоро, совсем скоро…

Он выкинул окурок, и окурку навстречу, едва разминувшись, пролетела жирная муха с зеленым перламутровым брюшком. Влетела в комнату, заложила вираж вокруг лампочки, затем устремилась к женщине, которая застегивала молнию на тугих джинсах, снизилась над ведром, но изучить его содержимое ей не позволили – махнули батником, и с потоком воздуха муха вылетела обратно. Она не стала набирать высоту и взяла курс по давно изведанному маршруту. Сначала летела вдоль дорожки, выложенной из бетонных плит и обсаженной по бокам чахлыми кустиками. Она знала, что здесь нет ничего, дорожка лишь помогала ей не сбиться с пути, и потому не отвлекалась по мелочам. Вот она пролетела мимо офицерской столовой, похожей на самолетный ангар. Оттуда тянуло аппетитными запахами, но муха не поддалась

соблазну. Пробраться в столовую было очень трудно. На входе висели марлевые шторы, в которых можно было запросто запутаться. И тогда кранты. Но даже если повезет, и муха залетит внутрь вместе с кем-нибудь из офицеров, то это еще не означает, что ей удастся наесться от пуза. Хитрые официантки не расставляли тарелки с едой заранее, а дожидались, когда офицеры сядут за стол. А уж если офицер сел, то хрен к его тарелке подступишься. Локти на стол, грудь вперед, голову пониже – и давай черпать ложкой. Попробуй, подлети к такому! Особенно начальник политотдела отличается своим негуманным отношением к летающим особям. «Люба! (Это начальник столовой, толстая-претолстая бабища!). Что вы тут мух напустили?! Вы когда последний раз липучки меняли?! Не надо мне басни рассказывать, я же вижу, что на них уже живого места нет, хуже виноградной грозди!» В варочном цехе и на раздаче поспокойней, но там очень жарко, запросто можно свариться, пролетая над каким-нибудь котлом. Лучше всего на заднем дворике, куда выносят отходы. На жаре помои начинают бурлить, пузыриться, запах очень хороший. Там можно вволю покушать, но для главной Миссии место было неподходящим. А муха сейчас готовилась выполнить Миссию.

Вот библиотека. Такой же ангар, как и столовая, только чуть пониже. Там вообще делать нечего. Даже дерьма нет. А риск быть прихлопнутым тяжелым томиком Льва Толстого очень велик.

Вылетев за КПП, муха повернула вправо и полетела вдоль рядов колючей проволоки. Теперь ее путеводным компасом был запах. Он едва-едва улавливался, но муха знала, что просто сегодня попутный ветер, а значит, запах уносит в другую сторону. С каждой минутой мухе становилось все тяжелее. Она забеспокоилась: успеет ли?

Громко лязгая гусеницами и отрыгивая черный дым, ее обогнала БМП, боевая машина пехоты. Похожая на маленький танк, юркая, болотно-зеленая машина везла на своей броне солдат с голыми, влажными, словно вылепленными из сырой глины торсами. Двое сидели на башне, держась за крышки люков, а один, как капитан корабля, – впереди, на ребристой «палубе». Его лицо наполовину закрывали большие солнцезащитные очки, губы были плотно сомкнуты, на шее болтался амулет – цепочка и жетон с личным номером. Рядом, накрытый плащ-палаткой, лежал еще один боец. Наверное, он устал и решил прикорнуть. Нога в драной кроссовке, выглядывающая из-под брезента, раскачивалась из стороны в сторону. Похоже, они приехали издалека, так как успели здорово запылиться.

Муха вильнула в сторону. Она не переносила боевые машины. От них только пыль и гарь. Некоторое время она летела рядом и вскоре догадалась, что БМП едет туда же, куда летит она. Насекомое заволновалось: не конкуренты ли? – и прибавила скорости.

Вот и конечная цель пути – большая палатка из зеленой

прорезиненной ткани, стоящая на самом краю гарнизона. Дальше – только траншеи и посты боевого охранения, а за ними – минные поля. Муха села на козырек тамбура, отдышалась, с наслаждением втянула в себя ароматный запах. Успела! Она почистила задними лапками крылышки, пошевелила отяжелевшим брюшком и направилась внутрь палатки пешком. Теперь главное не суетиться и проявить хитрость. Люди здесь неторопливые, тормозные, будто пыльным мешком прихлопнутые, они не станут материться и гоняться за мухой со скрученной газетой. Этим людям все по барабану, все до глубокой фени. И они все время пьяные.

Муха перевернулась и пошла по провисшему тканевому потолку. Ее огромные глаза, состоящие из тысяч сегментов, вобрали в себя фрагменты предметов и, словно из осколков зеркала, составили единое изображение… Вот, пожалуй, здесь!

Она остановилась, замерла, чтобы не привлечь внимание человека, работающего у железного, как в столовой, стола. Человек, несмотря на жару, был в резиновых сапогах, в резиновых перчатках, в прорезиненном фартуке. В одной руке он держал шланг, из которого текла вялая струйка воды. Второй рукой он ворочал голое тело, лежащее на столе, направляя струю на пятна грязи и крови. Муха рассматривала тело оценивающе. Конечно, не ахти. Свежий. Слишком свежий. Даже запаха еще нет. Должно быть, этой ночью перестал жить… Человек в фартуке кинул шланг под ноги и пе-

ревернул тело на спину. Муха сразу увидела глубокую рану с рваными краями в верхней части живота. Кожа по краям была вывернута наружу, изнутри выглядывала сизая пленка кишок и желтоватый, тонкий, как недрожжевой блин, жирок. Совсем худющий мальчишка! На груди еще несколько сморщенных дырочек от пуль, похожих на куриные гузки. Но это совсем неподходящие площадки. Что ж, придется довольствоваться тем, что есть.

Муха спикировала вниз, дважды облетела человека в фартуке и села на заостренный подбородок мертвеца. Человек в фартуке махнул шлангом, сгоняя насекомое, вода попала убитому в ноздри, в полураскрытый рот, запузырилась там. Муха взлетела. Это был обманный маневр. Теперь человек в фартуке будет выворачивать мертвому голову, чтобы слить воду. Полминуты у мухи есть. Успеет! Она сделала еще один облет внутри палатки, уже не упуская из поля зрения мясо-красную рану, затем стремительно спикировала вниз, на живот, с едва обозначенной волосистой дорожкой, подбежала к ране, уселась на оголенную ткань, только-только тронутую разложением, и принялась откладывать яйца. Ее перламутровое брюшко ритмично опускалось и поднималось, словно игла швейной машинки, и в сочной складке раны выстраивался стройный ряд бледно-серых яиц. Еще, еще… Она спешила, человек в фартуке сдавливал пальцами крылья носа мертвеца, изгоняя воду, словно помогал ему высморкаться. Тут он увидел ее, взмахнул шлангом, направ-

ляя струю на муху. Она как раз успела завершить кладку. Несколько капель воды попали на нее. Это пустяки. Облегченная муха с места взлетела к потолку, сделала несколько кругов, любуясь своей работой и, удовлетворившись, вылетела из палатки вон.

Человек в фартуке кинул шланг под ноги и выключил воду. Осмотрел тело – не осталось ли крови или грязи, приподнял правую ногу за большой палец с бугристым желтым ногтем, отвел ее в сторону. Промежность относительно чистая. Сойдет! Нога гулко ударилась о железный стол. Теперь надо его одеть. Самая трудоемкая работа. Тело окоченело, руки и ноги не сгибаются, как у дешевой пластиковой куклы. Хорошо, кто-то догадался распарывать рубашки и кители на спине. Человек в фартуке приподнял холодную и скользкую, как рыба, руку мертвеца и стал натягивать на нее рукав рубашки. Покумарить бы и спиртяшки долбануть, да начальник поторапливает. Вот-вот борт придет, а еще надо успеть запаять цинк, заколотить ящик да погрузить его в ЗИЛ. Человек в фартуке на гражданке работал фельдшером. Когда попал в Афган, ему предложили стать Человеком В Фартуке. Он отказался. Сказал, хочу в полк, ходить в рейды и на засады, вытаскивать раненых ребят из-под огня, зарабатывать ордена и медали. Детство в жопе играло. Уж чуть было не отправили его на дивизионную операцию в Панджшер. Но тут покачивающейся походкой подошел какой-то странный человечек с мутными глазами и, попыхивая обслюнявленным окурком,

сказал, что лучше подмывать и накачивать формалином других, чем чтобы это делали с тобой. Это был первый довод. Самый главный. А второй чисто житейский: спирт будешь хлебать аки молоко у бабушки в деревне. А в полку в лучшем случае бражку цедить. Потому что весь спирт, который выделяется на медсанчасть, забирают командир полка, начштаба и замполит. А отсюда, из палатки, стоящей на самом краю базы, никто спирт не забирает. Брезгуют. Боятся.

Второй довод придал ускорение первому. Прав оказался тот человечек с обслюнявленным окурком. Вот он сейчас заглянул в палатку. Мутные глаза плывут, в обескровленных губах мокнет окурок.

– Ты еще долго будешь возиться, жопа? Почему лоток в крови? Почему шприц на полу валяется? Ты рану заштопал?

– Заштопал.

Соврал, конечно. А какая разница? Штопай, не штопай – ничего уже не изменится.

Обслюнявленный окурок полетел на пол. Человечек (рост сто шестьдесят вместе с высоченными каблуками – ни у кого в дивизии таких нет!) сел за стол, налил в мензурку спирта из бутылки и, вытянув губы, медленно и сосредоточенно выпил. Снова закурил. Морщась от едкого дыма, склонился над бумагами – низко-низко, едва носом не коснулся сопроводиловки. Длинный чуб при этом чуть съехал на лоб. Человечек стригся редко, волосы налезали на уши и воротник куртки, но не мешали. Они слиплись от жира и прекрасно держали

форму. Можно было даже не пользоваться расческой. Пригладил ладонью – и достаточно. Никто не делал ему замечаний. У человечка было привилегированное положение в дивизии. Иногда встретит его какой-нибудь заезжий «бугор» из штаба округа: «А вы почему без головного убора, товарищ старший лейтенант? Э-э, да вы вообще пьяны!» – «По-другому нельзя, – икая, отвечал человечек. – Я начальник «Черного тюльпана»». И тотчас сопровождающий офицер торопливо разъяснил «бугру» на ухо: «Это начальник морга, товарищ генерал… Было много работы. Вы же в курсе, что случилось под Багланом…»

И делали человечку рукой, мол, проваливай скорее, ату тебя, тьфу-тьфу, свят-свят-свят!

Он появлялся у штаба дивизии, у столовой, дома офицеров или библиотеки неожиданно, словно материализовался из воздуха, причем из воздуха несвежего, спертого, пахнущего мертвечиной. Всегда пьяненький, гаденький, обсаленный, с неизменно мутными глазками. У него не было друзей, с ним мало кто здоровался за руку, с ним старались не пересекаться. А начальник морга знал об этом и, по всей видимости, получал удовольствие от своей маленькой власти над людьми.

Подышав на штемпель, выпачканный чернилами, начальник морга хлопнул ею по сопроводиловке: «Вскрытию не подлежит!» Человек в фартуке раскочегаривал паяльную лампу. Тело, кое-как одетое в рваное тряпье (какая разни-

ца! Вскрытию не подлежит, туда хоть труп козы в генеральском мундире клади, никто не узнает), уже опустили в оцинкованное корыто, накрыли крышкой. Расплавленное олово ртутным ручейком заполнило щели. Начальник морга глянул в маленькое мутное окошечко, устроенное на боковой стенке цинкового гроба. Нормалек! Покойник выглядит как космонавт перед стартом. Лицо спокойное, расслабленное, губы чуть-чуть разомкнуты, между ними проглядывает край верхних зубов. Хорошие зубы! Классные зубы! Беленькие, ровненькие, блестящие. Наверняка в школьные годы пружинку носил, мама заставляла – противно, неудобно, одноклассники смеются, но надо, надо, сам же спасибо скажет, когда зубы как грибы после дождя начнут расти, а челюсть за таким бурным ростом не поспеет, и зубам станет тесно, и полезут они друг на друга, как бухарики в очереди за водярой.

Начальник морга взял из стеклянного шкафа маленькое стоматологическое зеркальце (с его помощью проверяли наличие посторонних предметов в глотке покойников) и посмотрел на свои зубы. Желтые, кривые – дрянь!

– Загружать, товарищ старший лейтенант?

Начальник морга густо намазал клеем полоску бумаги с надписью «Ряд. Босяков Юрий Петрович» и пришлепнул ее – наискосок – к ящику.

– Загружай!

Два молодых тощих чмыря из инфекционного отделения медсанбата (почти излечились после гепатита) взялись за де-

ревянный ящик с двух сторон – эть! Начальник морга поморщился, покачал головой.

– Эй ты, сынок! Я к тебе обращаюсь, жопа! – крикнул он. – И как ты спиной грузить будешь? Встаньте оба к кузову боком!.. Вот же дебилов прислали… Боком, я говорю! У тебя где бок, желтолицый? Там, где печенка твоя недоразвитая, чучело! А теперь на «раз-два» – и взяли!

Один из солдат не удержал тяжелый ящик, выронил, и его край упал ему на ногу. Солдат запрыгал от боли.

– Идиоты, – резюмировал начальник морга. – Что ж вы его бросаете? Это ж ваш боевой товарищ, можно сказать…

– Тяжело, товарищ старший лейтенант… А у вас сигаретку можно?

– Какую еще тебе сигаретку, доходяга?! Взяли быстро и погрузили в кузов! Раз-два! Вон уже «гробовщик» на посадку заходит… Ошизеть можно от такой работы…

Подскакивая на ухабах, ЗИЛ пылил по дороге в сторону аэродрома. Цинковый гроб, заколоченный в глухом деревянном ящике, грохотал в кузове. Крепко держась за скамейки, по обе стороны от него сидели доходяги в госпитальных пижамах. Они смотрели на ящик и прятали друг от друга глаза. Им скоро выписываться. Госпитальная лафа кончилась. Неделю еще подержат, привлекая на всякие работы, а потом пинком под зад – и в роту. Инфекционный блок, окруженный по периметру колючкой, останется в памяти как сладкий сон. Для них это был рай. Там все по-другому. Валяешь-

ся на койке сутки напролет, вставая только для того, чтобы сгонять в засыпанный хлоркой сортир. Там нет злых сержантов. Там не ходишь в караулы. И самое главное – там нет войны, нет засад, мин, реализаций, обстрелов, оглушающей трескотни автоматов, горького чада горящих бэтээров, криков офицеров, воплей раненых. Там даже нет воинских различий, там все одного звания – засранец. Милое, ласковое, чуть насмешливое звание, гарантирующее жизнь. Засранец Иванов. Засранец Петров. Засранец Сидоров. Все, кто попадал в инфекционный блок, мечтали до конца своей жизни оставаться засранцами, лишь бы не возвращаться в роту. В роте живешь с постоянными мыслями о цинковом ящике. «Не, меня точно убьют. Мне не повезет. Гадом буду, убьют. Кранты мне. Сдохну. Поймаю пулю в лобешник, как Беренчук. Или подорвусь, как Мирзоев. И мои ноги будут собирать по обочине. Или как Зинченко из шестой роты, которому голову гранатометом оторвало. Разорвалась голова, как арбуз – весь взвод мозговой слизью забрызгало…»

От таких мыслей клацают зубы, дрожат руки и прыгают в животе кишки. И сразу хочется по большому, как в острый тифозный период, когда бегаешь на очко раз по сорок за сутки, причем в половине случаев не добегаешь, обсераешься по пути, оставляя за собой желтые блямбы. Их потом выздоравливающие засранцы смывают хлоркой.

Чмыри держались за скамейки, чтобы не тюкнуться головой о металлическое ребро тента, смотрели на ящик и пред-

ставляли, как там, внутри, подпрыгивает мертвец. Уж наверное и рубашка, и китель, распоротый на спине, сбились на груди мятым комком, и ноги сплелись буквой Х, и руки куда попало… Машина затормозила, пыль влетела в кузов. С грохотом открылся борт. «Выгружай!» Тут уже рев моторов самолета, настолько громкий, что кажется, будто в голове что-то разрывается, и так страшно-страшно становится, как при обстреле. «Бегом! Быстрее! Не спать!»

Схватились дрожащими руками за края ящика. Ах, как тяжело! В пальцы впиваются занозы, колени сгибаются, а шея, кажется, становится тонкой-тонкой, и сейчас руки вместе в плечами оторвутся, кожа сорвется, и останется один скелет. «На рампу! Заноси!»

Они понесли ящик к самолету, страшному, ревущему чудовищу с раскрытой, порочно развороченной задницей, через которую было видно черное чрево. На краю рампы стоял летчик в голубом комбезе и шлеме, крепко прижимая к голове наушники. «Клади! Опускай! Дальше не надо!» Ничего не слышно, что им орут! Начальник морга разбирается с двумя прапорщиками, которые спорят между собой, кто полетит сопровождающим. Все трое раскрывают рты и размахивают руками. Летчик стучит начальника морга по плечу: «Рядом с самолетом курить нельзя!» Начальнику морга пофиг, он лишь перекатывает языком мокрую сигарету в другой уголок рта: «Мне можно!» Под масксетью толпится группа дембелей, преимущественно женщины, ждут команду на

посадку. Они одеты неестественно пестро, все в джинсах с расшитыми разноцветными веревочками карманами, в батниках с цветными звездами и флагами, а вокруг необъятных размеров сумки и чемоданы… Чмыри спускаются по рампе, поглядывая на женщин и выковыривая из ладоней занозы. Сейчас эти тетки погрузятся в самолет и улетят в Союз. Каких-нибудь полтора часа полета – и они в другом мире. Если инфекционный блок – это рай, то Союз – вообще что-то запредельное. Бесконечный кайф, вечно тлеющий косяк, бездонная кружка с водкой, что-то нежно-голубое, цветастое, хохочущее, теплое, нежное, с водяными брызгами, радугой и пионерскими галстуками. Нет-нет, этого никогда уже не будет. Их убьют в глиняном кишлаке, прострелят нахрен, оторвут головы, вспорют животы, вывалят кишки в пыль – жрите, мухи! А потом закидают по частям в ящик, запаяют, как в консервной банке, и отправят маме: «Ваш сын геройски погиб, выполняя интернациональный долг…» Мама за сердце схватится, е-мое, а какой это еще долг за ним числился? Всего ж восемнадцать было, никаких долгов набрать, вроде, не успел. Разве что мне немного должен – за мои бессонные ночи, за мои слезы, когда у тебя ушко болело или зубки резались, за стояние в очередях в молочной кухне, за вечные походы в поликлиники, и там очереди, и нервы, и рабское унижение перед принципиально немногословными врачами: «Скажите, а вот эта… невралгия… это очень опасно? А изменения на глазном дне – это как? это что ж, он теперь ви-

деть плохо будет?» И слезы, слезы. Да еще по учителям бегала и заискивающе: «Здравствуйте, Мариванна, вы уж простите нас, мы с этой математикой традиционно не в ладах, вы только скажите, что нам делать, мы день и ночь ее зубрить будем…» И всем подарочки – ой, тяжело от зарплаты отрывать, но что поделаешь? Врачам надо сунуть, учителям надо сунуть, и чтоб путевку в пионерлагерь достать, тоже без коробки конфет не подходи. Вот так по мелочам, но все, что должна была, все заплатила. Какие еще такие интернациональные долги? Это какой же огромный должище был, что только жизнью искупить его можно? Да уж лучше мамаша сама бы в петлю полезла: нужна стране жизнь, так забирайте мою, а мальчишку-то оставьте в покое, дайте немного пожить да девчонок потискать…

Чмыри закурили, думая об одном и том же. Болезнь, зараза такая, отступила. Дело идет к выздоровлению. Скоро в полк, в цинковый гроб, и станут его затаскивать в самолет какие-нибудь чмыри, да ронять в пыль.

– Товарищ старший лейтенант! Может, мы вам еще что-нибудь погрузим?

– Все, бойцы! – ответил начальник морга. Его затуманенный взгляд плыл, как винные пробки, брошенные в ручей. – На сегодня погрузка закончена. Что, понравилось? Прыгаем в кузов! Быстренько, быстренько!

Дело швах. Инфекционный блок, этот спасительный остров, тает в тумане. Чмыри переглянулись. Есть один способ

продлить свое пребывание в раю. Один хороший и проверенный способ. Но для него нужны деньги. Чеки или афошки. А чтобы добыть денег, надо что-то украсть и продать прапору. А способ простой, как все гениальное. В инфекционный блок каждый день поступают желтушники. Ядреные, как лимоны, желтушники. Доходяги с желтыми глазами и ушами. Ни на что не годные задохлики. Еле ноги передвигают, волоча в себе свой неподъемный билирубин. Работать не могут, курить не могут, есть не могут. Грош им цена. Вот только ссут они чрезвычайно ценной мочой. Темной, красно-коричневой мочой, похожей на квас. Эта моча офигенно заразна. Сбрызнул ею кусочек хлеба, сожрал – и гепатит тебе обеспечен, пожелтеешь как миленький! Но для этого счастья нужны деньги. Одна столовая ложка волшебного эликсира стоит от десяти до тридцати чеков. Большие деньги. Для солдата, который не ходит на боевые и сидит за колючей проволокой, это очень большие деньги, невозможно большие, просто немыслимо большие.

Чмыри забрались в кузов, наблюдая оттуда за пестрой толпой, которая устремилась к самолету, волоча за собой корабельных размеров сумки. Ух, до чего же счастливые эти бабы! В Союз улетают. И все у них есть. И шмоток немереное количество, и чеки, рассованные по тайникам, и эти тела – такие бедрастые, сисястые, жопастые. Ах, как им повезло, что у них есть такие тела! Ну просто сожрать хочется! В каждой клеточке безмерно кайфа! В каждой складочке оке-

ан удовольствия! В каждом пупырышке и волоске! Что за несправедливость такая? Почему им все, а кому-то – ничего? И увозят они с собой свои колышущиеся тела в Союз, а там эти тела нафиг никому не нужны, там такого добра навалом, а здесь так мало, так мало, ну просто кончить можно от досады!

– Пожалуйста!! – перекрикивая рев моторов, объявил комендант аэропорта, крепко сжимая в руке список. – Кто улетает в Союз, постройтесь в одну шеренгу. Загранпаспорта у всех есть? Кто не зарегистрировался?.. Женщина! Я к вам обращаюсь!

Но женщинам сейчас не до него. Они мыслями уже в Союзе, в пригороде Ташкента, в аэропорту Тузель, в пункте таможенного досмотра. На ушко друг дружке передают разные женские секреты, где и как лучше спрятать чеки, чтобы не нашли.

– Люсь, ты лучше здесь это сделай. Там будет уже поздно. Во-первых, негде, а во-вторых, там все насквозь просматривается.

– Вот же я дура, – хлопает себя по лбу Люся и озирается по сторонам: где бы стащить с себя джинсы и перепрятать скрученную в тугую трубочку пачку чеков.

Комендант за год службы всякого повидал, привык, что мочатся под колеса самолета, пьют на рампе, лезут под лопасти винтов, блюют в отсеке, но от зависти к женщинам избавиться не смог. Чекистки! Проститутки! Без всякого тру-

да, в свое удовольствие, такие деньжищи зарабатывают! А в его рабочем столе только дешевый хлам пылится. Десятка три китайских ручек да пару упаковок с презервативами. Вот такие дерьмовые бакшиши дарят за то, что он вносит людей в списки улетающих в Союз. Подумать только! Он сажает людей в самолет, который везет их в Союз (трудно подобрать современный аналог этому величественному понятию. В общем, это что-то супер-пупер, безграничное счастье, Сейшелы-Мальдивы-Канары, возведенные в охренительную степень), и лишь некоторые из них преподносят ему в знак благодарности бакшиш, да и то в виде дешевой авторучки.

Овеянные исходящей от провожающих крутой смесью зависти, злобы и обостренным либидо, женщины начали погружаться в самолет. Ругань, толкотня на рампе, радостное предвкушение от встречи с Родиной и плохо скрытый страх перед грядущей таможней. Кое-кто уже заранее подготовил пакет с набором дешевых штучек: кусачки для ногтей, кассету с записью Пупо, авторучку, кулон «Мадонна», очки солнцезащитные складывающиеся в футляре. Когда ушлый и прекрасно осведомленный таможенник начнет вкрадчиво выяснять, как удалось библиотекарше с ежемесячным окладом в сто восемьдесят чеков за неполный год заработать две дубленки, лайковый кожаный плащ, семь пар джинсов «Поп», магнитофон «Тошиба», японский чайный сервиз с мелодией, четверо наручных часов с калькулятором, да при этом еще накопить тысячу двести чеков наличными, вот то-

гда-то, в этот критический момент, пакет с безделушками надо незаметно, но очень убедительно передать таможеннику. Если не поможет, то всучить еще пару кроссовок (чуть ношенные, но он не заметит). Говорят, такая система действует безотказно.

И тут вдруг происходит нечто нестандартное. Совершенно невозможный феномен. По рампе самолета, запланированного в Союз, движение всегда только в одну сторону – внутрь. Обратно не хочет никто. Кто проник в самолет, спешно занимает место на лавке, крепко хватается за ее края, сумку между ног, чемодан – рядом, чтобы все время был в поле зрения, и ни шагу назад. Ни-ни! Только вперед, на Север, над пустынями, горными ущельями, лавируя между душманскими «стингерами», домой, домой, домой! И тьфу, тьфу на этот поганый Афган, чтоб мои глаза его больше никогда не видели! Но что это с продавщицей военторга, Ирочкой Афанасьевой? Она кинулась вон из самолета, волоча за собой сумки и неподъемный чемодан.

– Я не полечу… Я не могу…

– Ирка! – кричат изнутри соратницы. – Дура! Вернись!

Дура не возвращается. Она плачет, крутит головой и бурлачит свой багаж подальше от самолета. Комендант в замешательстве. Ничего подобного он еще не видел. Как фамилия?.. Вы в самом деле не хотите лететь? А самолета больше не будет, чтоб вы знали! В плане на завтра точно не стоит. А что будет послезавтра, одному черту известно. Колонной

на Хайратон поедете. На броне. А дорогу на Ташкурган обстреливают каждый день. Да и попробуйте найти офицера, который взял бы взял бы вас под свою ответственность. Вам это надо? Этот геморрой вам нужен? Подумаешь, какая цаца – с гробом она лететь не может.

Но у Ирочки уже истерика. Она крутит головой, тащится муравьем все дальше и дальше, и даже не оглядывается. При чем тут гроб, идиоты! При чем тут гроб… Платка нет, высморкалась в батник, потом вытерла им же глаза. Остались черные разводы. Она села на чемодан, отдышалась. Уф, как тяжело, как давит и болит в груди. И все померкло вокруг. И небо темное и мрачное, и солнце злобное, и так гадко-гадко на душе. А ведь надеялась, что никогда не узнает войны, что отработает за прилавком магазина два года, где лишь кондиционированная прохлада, очередь, ищущие взгляды солдат, шелест чеков, банки «си-си», сигареты, печенье, сгущенка, праздничные наборы, солями и икра, отложенная для начальства, «Ирочка, солнышко, дай мне без сдачи пачку чая, я не могу стоять, меня начштаба вызывает!», «Ируся, привет! Не слышно, когда магнитофоны подвезут? На Новый год будут?», «Мне упаковку «Боржоми»! Да, орден обмываю. Вечером придешь?» И так каждый день, с утра до вечера, товар-чеки-покупатели. Мужиков куча, раскладываешь их, словно пасьянс, прикидываешь, на кого ставку сделать. Белкин, командир девятой роты, хороший парень, но женат и не слишком щедр на подарки. Бурцев, начальник артилле-

рии, хоть и холостой (врет, наверное), но уж какой-то тупой и скучный, с ним Ирина два раза спала – в самом прямом смысле этого слова, крепко, с храпом. Сидоренко, начальник склада ГСМ, богатый, щедрый, заводной, но уж больно охоч до баб и выпивки, с ним серьезные отношения не построишь. Тинченко, пропагандист политотдела, слишком циничен; приходит чистенький, аккуратненький, одеколоном пахнет: «Так, Ирина, я дарю тебе джинсы, но это не только за сегодняшний раз, но и еще на будущее, потому что эти джинсы стоят восемьдесят чеков, а для одного раза это слишком многовато…», да и труслив он до тошноты: делает свое дело и все время прислушивается, кто по коридору ходит, кто о чем там балакает, не произносит ли кто его фамилию… А как сделает все, что хотел, выйдет в закуток, где умывальник, и плещется там долго-долго, бряцает стеклянными пузырьками с какими-то едкими растворами – спринцуется, протирается, не дай бог венерическую заразу подхватит! Венерические болезни – самое страшное, что может случится с офицером политического отдела. Это хуже пьянства и глупости, хуже подлости и трусости. Потом, старательно пряча глаза и скрывая брезгливость, он выметается из комнаты – тихо-тихо, как мышь, а предварительно высовывает голову в коридор и смотрит, чтобы не было никого. Словом, от этого Тинченки самой помыться хочется как следует.

И вот пролетело два года, а ставка так и не была сделана. Ничего серьезного. Все мимолетно, впопыхах, скрытно, ше-

потом, да все по пьяни, с запахом лука и сигарет, когда мозги задурены, и слезы льются безудержно, когда вдруг кажется – все! влюбилась! нашла! вот оно, счастье! – а на утро нестерпимо стыдно, пасмурно и пусто на душе.

А с тем солдатиком что было? Обвал нежности и жалости. И никакого стыда. И не было желания отмыться с мочалкой. Как сон – короткий, яркий, счастливый, в котором прочти не помнишь деталей, а только лишь ощущение, большое и светлое ощущение воздуха, пространства и полета… Был вечер. Ирина уже закрывала магазин. Осталось пересчитать и погасить чеки, поставить на сигнализацию, запереть двери и сдать под охрану разводящему караула. Она уже взялась за засов, но дверь вдруг распахнулась, и унылый пыльный пейзаж заслонил собой он. Наверное, солдат долго бежал, чтобы успеть до закрытия, и потому часто и глубоко дышал и не смог сразу ничего сказать. Ирина научилась их различать. Это был не «сынок», скорее всего дембель, хоть и без отпечатка высокомерия и жестокости на лице. Ростом выше ее на целую голову, белесый, словно альбинос, настолько белесый, что почти невозможно было разглядеть его нежную щетину на подбородке и скулах. Губы розовые, мальчишеские, а глазки – просто не оторваться! Голубые глазки! Настоящие голубые, а не вяло-серые, какие тоже почему-то называют голубыми. Он снял панаму и стал обмахиваться ею, как веером. Прозрачные капельки пота скользили по его щекам.

– Я… это… за сигаретами…

– Магазин уже закрыт, – ответила Ирина и слабо потянула ручку на себя.

Как все продавщицы она умела отвечать покупателям грубо и решительно, но сейчас почему-то не хотелось грубить. Она не могла оторвать взгляда от этих удивительных глаз и даже улыбнулась помимо воли.

– Мы завтра утром на блок выезжаем, – стал торопливо объяснять он. – На целый месяц… а сигарет нет… Мне только двадцать пачек «Примы»… У меня без сдачи…

Она ничего не сказала, отступила на шаг, впуская его внутрь, закрыла дверь на засов. «Надо же, какие красивые солдаты бывают!» – подумала она с удивлением, открывая для себя удивительную новость. Раньше она никогда не вглядывалась в лица солдат. А что высматривать? Серая, безликая масса, запуганная, несчастная, безропотная. Ирина зашла за прилавок, потянулась к верхней полке за сигаретами. Она чувствовала его взгляд и не понимала, что происходит с ней. На ней был сарафан до колен, желтый с красными цветами. Легенькая, хорошо обтягивающая тело тряпка. Не новая, не самая лучшая из ее гардероба. У ножки у Ирины не ахти, чуть полноватые, с излишне крепкими икрами. И каблук низкий, «рабочий», на котором нетяжело стоять весь день за прилавком. Словом, объект не самый привлекательный, по союзным стандартам – на троечку с плюсиком. Но Ирина вдруг почувствовала себя актрисой на сцене, освещенной софитами. Нет, не просто актрисой, а отчаян-

но-смелой танцовщицей в кабаре, этакой примадонной, воплощающей в себе ослепительную порочную красоту, море наслаждения и горько-сладкую женственность… Она встала на цыпочки, вытянулась в струнку (во всяком случае ей казалось, что в струнку), и стала перебирать пачки сигарет. Снять с полки двадцать кровяно-красных коробочек можно было быстро, за один подход, но Ирина делала все медленно, позволяя любоваться собой долго. Ей было приятно и легко, она знала, что сейчас являет собой совершенство, ее недостатки замечательным образом превратились в достоинства, и красивый парень рассматривает ее со скрытой жаждой, и она красива до головокружения, до безумия, и в сумрачном зале над прилавком вершится торжество красоты и страсти.

Она выложила сигареты на прилавок, глядя на солдата открыто и чуть насмешливо. Она видела, что с ним творится. Он прятал свои чудесные глаза, движения его были неточные, когда он укладывал сигареты в пакет. Он старался скрыть свое волнение, свое участившееся дыхание, и так крепко стискивал зубы, что вряд ли смог бы что-либо сказать. «Как легко ты потерял голову!» – подумала Ирина. Это ее забавляло. Она назвала сумму. Солдат не понял, он сейчас не мог думать о деньгах и не понимал смысла чисел. Переспросил – хрипло, не своим голосом и закашлялся. Ирина улыбнулась. «Какой славный мальчишка!» Он протянул ей деньги – неуверенно, словно хотел прикоснуться и погладить какого-то прекрасного, но непредсказуемого зверь-

ка. И она протянула руку, медленно, не спуская с него глаз, уже почти наверняка зная, что сейчас произойдет, что становится непреодолимым искушением. Он выронил деньги на прилавок, схватил ее руку, потянул к себе; в его небесных глазах блестела мольба и страх. Он творил что-то недопустимое, недозволенное, совершал преступление, он ожидал, что прекрасная женщина сейчас отдернет руку, громко закричит, ударит его по щеке. Но она позволяла держать себя за руку и продолжала улыбаться, и эта покорность испугала солдата еще больше. Он замер, лихорадочно дыша. «Ну что же ты?!» – спросила Ирина – вслух или мысленно, сейчас уже не вспомнить. Он сделал шаг и кинулся в манящую пропасть. Обежал прилавок, попутно обрушив пирамиду из пустых коробок, схватил ее за плечи, но тотчас почувствовал, что надо не так (забыл, черт возьми, как надо девушку обнимать!), опустил руки на талию, прижал к себе, стал целовать жадно и поспешно – скорей, скорей, пока не отняли это божество! Она попятилась, уводя его с собой в подсобку – там стоял топчан, но у солдата не хватило терпения идти так далеко, начали подкашиваться ноги, и вся его военная, снайперская, комсомольская, дембельская сущность залилась могучим инстинктом, и все в нем сразу увязло, замерло и подчинилось. Что он делал, что он делал!! Он поднимал подол ее сарафана, оголял ноги – это же просто бесстыдство, пошлость, но какая сладкая, сволочь, почему так невообразимо хочется такой пошлости? Почему, почему, почему?

О-о-ох! – и выдохся, обмяк, словно его сразило пулей. Она гладила его скользкую от пота кожу. Какой он гладенький, ровненький, упругий, и пот его молодого тела пахнет чем-то домашним, семейным, пахнет субботним вечером в семейном кругу, кинокомедией «Кавказская пленница», абажуром, низко висящим над круглым столом, диваном с расшитыми подушечками, плотными шторами на окнах, пушистым ковром – всем тем, что хранит тепло домашнего очага.

– Извините… Извините, пожалуйста…

Он одевается, застегивается. Его щеки пылают. Ему нестерпимо стыдно.

– Извините меня…

Глупый! Ирина отряхнула сарафан, расправила складки, повернулась к солдату спиной.

– Застегни, пожалуйста… Нет, там надо крючок наложить на пряжечку… Ну поставь их под углом друг к другу, а потом выпрями…

Он торопится, волнуется, ничего не соображает. Расстегнуть лифчик сумел, застегнуть – нет.

– Тебя как зовут?

– Юра.

– Ты откуда будешь такой глазастый?

– Из Подмосковья.

– Я почему-то так и подумала. У вас там, в Подмосковье, все такие красивые?

Он немного успокоился. С мужчинами всегда надо говорить *после этого*. Он должен понять, что нормальная жизнь продолжается.

– Спасибо вам большое…

Он уже одет, застегнут на все пуговицы, даже панаму на голову нахлобучил.

– На здоровье… Поцелуй меня еще разочек, Юра Босяков, и топай! Магазин пора под охрану сдавать.

– А откуда вы мою фамилию знаете?

В глазах – испуг, недоверие. Смешные эти мужики! В каждом холостяке сидит боязнь долга перед женщиной, с которой он спал, боязнь тугого брачного ошейника, детей или алиментов.

Ирина подошла к солдату, опустила руки ему на плечи, поцеловала медленно, сладко.

– Твоя фамилия на внутреннем кармане куртки хлоркой выведена. Не комплексуй, Босяков! У тебя хорошая фамилия… Мне сразу представляется крепкий деревенский парень, бегущий босиком по утреннему лугу, а вокруг туман, роса, кони…

Она почти сразу забыла о нем и никогда, наверное, не вспомнила бы, если бы не ящик с гробом, стоящий в черном нутре самолета, и на нем бумажная наклейка «Ряд. Босяков Юрий Петрович». Сама не поняла, чего вдруг разревелась и отказалась лететь. Жаль мальчишку. Жаль. Очень жаль. Хорошие у него были глазки, голубенькие, и кожа гладкая-глад-

кая, как попочка у младенца. Все, протащили через мясорубку, перекрутили, смяли. Отбегал пацан свое по утреннему росистому лугу.

Не посмотрела бы на гроб, так бы и не узнала, и жил бы этот губастенький мальчишка в ее памяти еще долго-долго.

– Ну что?! Надумала?! – орет комендант. Первый раз за все время, пока он в Афгане, приходится уговаривать человека лететь в Союз.

– Я другим бортом полечу! – не оборачиваясь, кричит Ирина.

– Другого сегодня не будет! И завтра не будет! Полеты прекращены на неопределенное время! У духов «стингеры» появились!

Женщина не реагирует. У коменданта заострился подбородок, он махнул рукой, подав знак летчику, и пришла в движение рампа. Железное чудовище закрывало пасть. «Прощай, Босяков, прощай!»

«Чекистка! – с ненавистью подумал комендант, придерживая панаму на голове, чтобы не сдуло. – Мало чеков нагребла? Еще хочется? Уже совать некуда, уже все забито, но тебе все мало? Ну ты, бля, у меня улетишь! Я тебе устрою!»

Никто еще так не унижал его, как эта плачущая тетка, сидящая на чемодане.

Она махнула проезжающему грузовику, по-мужски ловко закинула сумки в кузов, села с водителем рядом.

– Что, испугались? – спросил водитель участливо. Он ви-

дел, как Ирину уговаривали зайти в самолет. – Вам в дивизию?

Грузовик попылил по дороге в объезд ВПП. Солдат-водитель приободрился. Он впервые видел рядом человека трусливее себя. В сравнении с этой женщиной он сам себе казался едва ли не героем.

– Мне тоже поначалу неприятное было все это, – сказал он, ловко выворачивая руль и объезжая глубокую выбоину, пробитую гусеничными машинами. – Потом привык. Главное, настроить себя философски. Все это – жизнь. Все мы – смертны… Что вы говорите?

Ирина ничего не говорила. Она просто высморкалась. Солдат искоса поглядывал на нее и придумывал жуткую историю про войну и смерть. Именно придумывал, потому что на боевых солдат никогда не был и очень надеялся никогда не быть. Ему посчастливилось попасть в хозяйственный взвод, и в его обязанности входило разъезжать на ЗИЛе по всей базе, развозить ящики с продуктами по складам, со складов – в столовые, из столовой увозить парашу и сливать ее за нижним КПП, где паслись душманские коровы; возил он гробы из морга на аэродром, детали для вертолетов, оцинкованное железо, боеприпасы, заменщиков, дембелей – словом, возил все, что подлежало перевозке с одного места на другое. Парням, которые ходили на боевые, он немного завидовал, особенно дембелям с медалями и орденами, но зависть его была абстрактной, и на подвиги его, мягко говоря,

не тянуло. При мысли о войне его прошибало потом и бросало в дрожь, он не мог говорить, потому как челюсти сводило судорогой, затылок немел и терял чувствительность, ноги и руки становились ватными, и с подлой навязчивостью по ночам случался энурез. Солдат ненавидел войну как скорпиона, как мерзкую жабу с ядовитыми бородавками, как глистов. Эта война, невидимая, тихая, безмолвная, обитала где-то за пределами базы, за шлагбаумом КПП, за линией окоп, колючей проволоки и минных заграждений, и когда солдат начинал задумываться о ней и вглядываться в пыльную даль с оглаженным контуром песчаных гор, внутри него все сжималось, превращаясь в тяжелый сырой комок, в голове начинало звенеть, и этот звон стремительно поднимался до самых высоких нот, превращаясь в истошный визг. И тогда солдат, боясь сойти с ума, затыкал обкусанными пальцами уши, зажмуривал глаза, и, оказавшись в этой глухой темноте, мысленно говорил: «Мамочка, мамочка, спаси меня, не дай помереть, господи, не дай помереть, так жить хочется, только бы не попасть туда, только бы пронесло, только бы живым вернуться…»

Наверное, его слишком напугали, когда он только прибыл на базу с бледной и прозрачной от страха командой. Ну, про традиционное пожелание от дембелей «Вешайтесь, чмыри!», он слышал еще в учебке. Оно его не испугало, но насторожило. Потом командир отделения, распределяя койки в палатке, паскудно пошутил. Глянул на солдата оценивающе, при-

щурив один глаз: «Рост какой?» Какой, какой… А фиг его знает! Тут от впечатлений не то, что рост – фамилию забудешь. Сержант подтолкнул солдата к деревянному колу, поддерживающему крышу, поставил зарубку над темечком, что-то пометил в своем блокноте, покачал головой: «Плохо!» – «Что плохо, товарищ сержант?» – «Рост плохой». – «В каком смысле?» – «Гробов на сто семьдесят два сантиметра уже не осталось. Ты слишком высокий. Когда в ящик положим, придется согнуть тебе колени». А на следующий день его отправили в морг, затаскивать в ЗИЛ «Груз-200».

Война шептала где-то недалеко, посылая зловещие приветы солдату. Он издали видел, как с боевых вернулся батальон, как лязгая траками, кружились на месте боевые машины пехоты, присыпанные солдатами, словно торт жаренными орешками, как снимают с брони безжизненные тела в расхристанном, рваном обмундировании, до тошноты выпачканном в крови. Убитые! Мертвые! Трупы! А-а-а-а, нет! нет! нет!

И он снова затыкал уши и зажмуривал глаза, прячась в своей уютной и глухой темноте. Он знал, что он трус, но ничего не мог с собой поделать, настолько не мог, что даже не пытался перебороть страх, даже не помышлял о такой невозможной для себя цели.

А война отрыгивала жуткие слухи. Колонна КАМАЗов поехала на карьер за песком. Это где-то рядышком, минут десять или пятнадцать езды. Водители не взяли с собой ору-

жие – зачем? близко ведь! – даже куртки не накинули, голые по пояс, веселые, уверенные в себе, дембель скоро, прощай, поганая страна! Карьер не нашли, спросили у таксиста. Тот кивнул, езжайте за мной, щас покажу. Привез на какой-то пустырь, поросший высокой травой. Через три часа пропавшую колонну нашли. КАМАЗы уже догорали. В траве лежали голые и безголовые тела солдат. У многих были отрезаны половые органы и вспороты животы. Отрезанные головы пришлось искать долго – их раскидали по всему полю. Полк неделю трясло от ужаса.

Самое херовое, учили сержанты, это попасть к духам в плен. Лучше сразу подорваться гранатой. Пшик – и на том свете. Ни боли, ни страха. Чтоб наверняка, надо гранату к животу прижать или, что еще лучше, к горлу. Разворотит так, что духи не тронут тело, не станут его обезображивать. Не ссыте, сынки, после подрыва гранатой никто еще живым не оставался, никто не корчился от боли. А вот если попадешь в плен, вот это полная задница. Насчет пыток духи очень изобретательны. Например, любят они «снимать рубашку». Разденут вас догола, подвесят к дереву за руки, затем аккуратно надрежут ножом кожу – вот здесь, пониже пупка, по окружности, и задерут кожу наверх, словно майку, до самой головы. В идеале должно получиться так, чтобы волосы лобка оказались на темечке. Разумеется, ничего не видишь, потому как голова оказывается как бы в кожаном мешке, задыхаешься, кишки медленно вываливаются, но ты

инстинктивно пытаешься их удержать, напрягаешь мышцы живота, и тем самым продлеваешь свои мучения. Мух налетает миллионы! Облепляют твои внутренности, жрут, жалят, жужжат. Говорят, где-то под Джелалабадом духи «сняли рубашку» с нашего солдатика, так тот десять часов мучился, дышал через дырку в кожаном мешке, которую сам же прогрыз… Но это тоже фигня. Есть штучки куда более изощренные. Например, снимают с пленного штаны и сажают голой задницей на ведро, как на унитаз. В ведре дремлет кобра. Ее пока ничто не беспокоит. Но когда под ведром разжигают костер, кобре становится горячо, и она пытается выбраться из ведра через единственное доступное отверстие – задний проход несчастного пленника. Это дьявольское развлечение невообразимо мучительно…

Хрясь! Водитель вовремя не притормозил, машина подскочила на ухабе, клубы пыли поплыли над фанерными модулями вечно пустующего разведбата. Теряя очертания, пыль припорошила угловатые крыши, чахлые кусты, выложенные из бетонных плит дорожки и грязным туманом двинулась к медсанбату. Эта мутная субстанция с прогорклым запахом древности и нищеты, из которой на восемьдесят процентов состоит воздух Афганистана, проплыла над дощатой сценой, сколоченной для приезжих певцов, и на которой недавно выступала вечно молодая Эдита Пьеха; пыль бесшумно накрыла медико-санитарный батальон с голубой воронкой фонтана посредине, заставила повернуться к се-

бе спиной двух солдат в госпитальных пижамах, забилась в оконные щели, заползала в марлевые занавески на форточках. Гуля Каримова с опозданием закрыла форточку, включила посильнее поддув воздуха из кондиционера, и застыла у окна, глядя на унылые столбы ограждений.

Вот уже неделю ее мучило тягостно-тоскливое чувство. В нем и безысходность, и ревность, и обреченность, и уныние. Герасимову дали отпуск по ранению. Он его не просил, не писал рапорт, не намекал, не проставлялся. Военно-бюрократическая машина сработала на удивление быстро и четко. Медкомиссия написала заключение и положила его на стол командира полка. Тот подписал его и передал начальнику штаба. Начштаба не поленился зайти в строевой отдел и распорядиться насчет отпускного билета для Герасимова. Все закрутилось. В штабе шелестели бумажки, и от этого звука Каримову коробило. Через пару дней они расстанутся. Валера сядет в самолет и полетит в Союз, в ташкентский Тузель. Потом он пересядет в другой самолет и полетит во Львов. И там, в городе-герое, в терминале аэропорта, в зале прибытия, его встретит жена.

Гуля стояла у окна и выстукивала пальцами по подоконнику, словно играла на пианино.

Жена… Слово какое странное. Жесткое, дрожащее, напоминающее жука в спичечном коробке: же-на, жу-жу… Гуля не знала, как выглядит та женщина, какого цвета ее волосы, какие у нее глаза, как она одевается, в какой ночнуш-

ке ложится в постель. Она старалась не думать об этом, потому как мысли о законной жене Валеры Герасимова были мучительны, и Гуля с трудом подавляла крик. Ничего более несправедливого она не знала. Самые подлые войны в истории человечества, самые коварные убийства, величайшие трагедии и ужасающие катастрофы представлялись ей более справедливыми и естественными, чем факт существования у Герасимова какой-то там жены. Живет, понимаете, баба в Союзе, ходит по магазинам, кафе, жрет докторскую колбасу, мороженное, пьет шампанское, крутит задом налево-направо, цокает, плядище такая, каблучками по асфальту, не заливается соленым потом, ничем не рискует, ни за что не борется, не скрипит зубами, принимая раненых, не сходит с ума от их истошного крика, да еще приличные почтовые переводы получает регулярно – и в довершение всего она еще и законная жена с полным комплектом прав на Герасимова! С какой такой стати?? Где же справедливость?? Почему этой мымре все права, а Гуле Каримовой – никаких, хотя именно она, Гуля Каримова, выбрала, выходила, вернула к жизни Валерку, она боролась за него, она показывала свой нрав, сохраняя свое достоинство и честь, она была верна, она была горда, она превратилась в белую ворону, она объявила войну всем – ради того, чтобы быть с Валеркой! И вот вдруг выясняется, что у нее нет никаких прав, и весь этот мир, что связан с Валеркой, принадлежит другой…

Гуля покусывала губы и все ожесточеннее стучала паль-

цами по подоконнику. Значит, во Львове его будет встречать жена. Кинется ему на шею: «Дорогой!!!» Он будет ее целовать. В нем оживут уже почти забытые воспоминания и чувства. Он подумает: вот она, моя единственная, моя жена, моя верная законная супруга, вот она – настоящая жизнь. А все, что было там, в мерзком Афгане – это дурной сон, заблуждение, затмение разума, безобразная ошибка, которую надо забыть, забыть, забыть!

Гуля заплакала. Она чувствовала, что теряет Валерку. Чудовищная несправедливость торжествовала. Он говорил: «Я люблю тебя». Но он говорил это здесь, в Афгане. А там у него другая жизнь. Другая планета, другая эпоха. Все, что здесь, туда не переносится. Это разные, несовместимые субстанции. Ах, как быстро зажила рана на его плече! На удивление быстро. Гуля дважды в день делала ему перевязку. Иногда брала все необходимое с собой, и перевязывала его в ротном кабинете, в том маленьком и счастливом мире, принадлежащем только им. Она беспокоилась за стерильность. Протирала руки спиртом, прежде вскрывать упаковку с бинтом. Валерка смеялся: «Если бы ребята увидели, на что ты переводишь спирт, они бы убили меня!» Гуля включала настольную лампу, придвигала ее к дивану, на котором лежал Герасимов, внимательно осматривала плечо – нет ли отека, покраснения. Потом аккуратно отдирала марлевую нашлепку, фиксирующую повязку. Рана заживала на глазах, дырочка от пули затягивалась. Быстро, очень быстро. Антибиотики уже

не нужны. По окружности – смазать йодом. Саму ранку – зеленкой. И стерильный тампон сверху. «Не жжет?» – спрашивала она, дуя на Валеркино плечо. А он запускал пятерню в ее волосы, теребил, гладил: «Я люблю тебя».

Если бы она где-то ошиблась, немножко нахалтурила, всего чуть-чуть, у него мог бы начаться сепсис. Если есть необходимые антибиотики, это не страшно. Усиленная терапия, капельница, постельный режим. Еще минимум месяц он провел бы в медсанбате. Гуля была бы рядом с ним почти круглые сутки. Еще целый месяц они были бы вдвоем! Какое это счастье – ухаживать за ним! Невообразимое счастье, от которого захватывает дух. Ах, если бы Валерка болел долго-предолго!

Гуля закачала головой, кинулась к тумбочке, вынула сигареты, вышла на крыльцо… Вот же дура, опилками набитая! До чего уже додумалась! Чтобы Валерка болел долго…

Она торопливо курила. Солдаты подметали дорожку вокруг фонтана и поглядывали на нее. Им тоже хотелось курить, но они не знали, этично ли «стрелять» сигареты у женщины. Ситуация нестандартная.

– Курите, – сказала Гуля, положила пачку на скамейку и вернулась в отделение.

«Так, спокойно!» – призвала она себя и, сняв белую шапочку, расчесалась у зеркала. Валера женат. Гуля знала об этом с самого начала и никаких иллюзий не строила. Он *сам* все делал. Он *сам* пошел к ней. Его предупреждали, объяс-

няли, чем он рискует. Валера не остановился. Значит, он сделал выбор. Он не скрывал своего отношения к Гуле, он всем открылся, но не позволял себя поймать, как мальчишку, ворующего яблоки в чужом саду. Абсурдная ситуация: все знают, что он живет с Гулей, но никто не может уличить его в этом.

Ей представлялось, что Валерка бежит по тонкому льду, лед за ним трещит и ломается, останавливаться нельзя, возвращаться – тем более. Только вперед, и чем быстрее, тем лучше. У многих офицеров были женщины, но чтобы вот так ломался лед за спиной…

Дело в том, что Гуля была предназначена начальнику политотдела. Ее прислали на базу специально для него. Сначала в Кабул. Там штаб армии, первичный отбор. Самых красивых девушек оставляли при штабе, рассовывали по различным должностям и кабинетам для украшения службы начальства. Кто похуже, отправлялись на периферию, в дивизии. Самых страшненьких перефутболивали в штабы стоящих отдельно полков и батальонов. Начальник политотдела дивизии не захотел довольствоваться остатками после первичного отбора, позвонил знакомому кадровику в штаб армии.

– Михалыч! Что ты мне все время каких-то крокодилов присылаешь? В Советском Союзе красивые женщины перевелись?

Михалыч лично пообещал начальнику политотдела подо-

брать для него красивую бабу. Через два месяца в медсанбат прибыла медсестра Гуля Каримова. В этот же день командиру позвонили из штаба армии и предупредили: кто на Каримову глаз положит, тому будет очень грустно служить. А начальнику политотдела отрапортовали: груз доставлен! Спортсменка, комсомолка, красавица!

Начальник политотдела велел командиру артдивизиона истопить для себя баню, прибрался в своих апартаментах, поменял простыни, накрыл стол, колбаски порезал, баночный сыр вывалил на тарелку, вино-водка, югославские конфеты – красота! Смахнул пыль с магнитолы, вставил кассеты Розенбаума и Пугачевой. Помощнику по комсомольской работе приказал: Гулю Каримову ко мне на собеседование с комсомольским билетом!

Встретил он ее в кабинете, встал из-за стола, растягивая губы в улыбке и едва сдерживая голодный взгляд, протянул руку. Присаживайтесь. С уплатой членских взносов все в порядке? Общественной работой занимались? Комсомольские поручения были?.. Да, хороша баба! Какие формы! Бедра! Грудь маленькая, но это даже лучше. А мордочка просто загляденье! Глаза черные, чуть раскосые, носик кверху, бровки как ниточки, зубки ровные, блестящие. Что-то в ее лице озорное, хулиганское, даже дерзкое, и какое, должно быть, сильное и гибкое ее тело, как дурманяще пахнут ее волосы, как свежи и вкусны ее губы, как нежна кожа… Начальнику политотдела стало жарко. Он добавил мощности кон-

дионеру, путано и бегло обрисовал военно-политическую обстановку, поинтересовался планами на будущее, желанием вступить в партию, обратил внимание на необходимость серьезного отношения к ленинскому зачету и пригласил на ужин к себе домой, потому как на довольствие в столовой ее поставят только завтра утром.

Гуля растерянно кивала, плохо понимая, о чем говорит этот грузный мужчина. Ей все тут было в диковину, она еще не пришла в себя после полета на военном транспортнике, после Кабула и штаба армии, после беглого, полного мутных намеков инструктажа и советов попутчиц, и ее робость и смятение все больше возбуждали начальника политотдела. «Я тебя в обиду не дам, – заверил он, неожиданно перейдя на «ты». – Здесь у нас сложилась хорошая традиция брать шефство над комсомолками. Я лично буду следить за тем, чтобы у тебя были все условия для плодотворной работы и идейно-политического самосовершенствования».

Она еще ничего не понимала, а дивизия уже знала, что это Гулька-Начпо, и на нее с плохо скрытой завистью и ненавистью пялились машинистки, официантки, инструкторши по культмассовой работе, продавщицы и медсестры. Вот же сучка! Только приехала, и сразу под крылышко самого начальника политотдела дивизии! А это значит, что здесь она будет как сыр в масле кататься, и шмоток у нее будет навалом, и в дуканы, когда захочется, и продукты у нее будут самые лучшие, и вино, и шампанское. И, конечно же, власть.

Попробуй скажи кривое слово подруге самого начальника политотдела! И заискивать придется, и стелиться перед ней: «Гулюшка, солнышко, а ты не могла бы попросить Владимира Николаевича, чтобы он отправил ходатайство в брянский горсовет об улучшении жилищных условий моей мамы… Гулюсик, намекни Владимиру Николаевичу, чтобы представил моего Ткачева к досрочному «капитану»… Гулюнчик, выручай! Завтра в Союз борт летит, меня в списки не внесли, а мне так срочно в Ташкент надо! И будет Гулюсик самолично решать, чью просьбу можно принять во внимание, а чьей – пренебречь. А то как же! Влиятельная особа! Гулька-Начпо!

Но так могло быть в будущем, а пока Гуля Каримова, растерянная, со спутавшимися мыслями, возвращалась в медсанбат, смутно догадываясь о том, что все произошедшее – не случайно, что она уже попала в переплет, втянулась в какую-то игру, правила которой ей еще не известны.

А начальник политотдела доложил члену военного совета о ходе подготовки к выборам в местные советы народных депутатов и успешном изучении личным составом дивизии материалов пленума ЦК КПСС, затем сходил в баню, попарился, тщательно перебрал все свои кожные складки, промыл их и прополоскал, освежился иностранным одеколоном и пошел к себе в апартаменты. Там он придирчиво осмотрел стол, поменял местами бутылки и баночки с газированным напитком «Си-си», добавил еще баночку рижских шпрот,

включил музыку, поправил на окнах непробиваемые шторы. Он немного волновался: все ли у него получится, как положено? Война – это такая фигня, что все человеческое из тебя вышибает. Это, блин, не санаторий. Это безобразие и издевательство над организмом. Война одним словом… Больше не нашлось слов о войне, на которую полковник собирался списать свои возможные неудачи. Собственно, о ней он знал только по тактическим картам и политдонесениям. Для начальника политического отдела дивизии места в боевых порядках не предусматривалось. На него возлагалась обязанность вдохновлять солдат и офицеров на подвиги во благо идей интернационализма – ни больше, ни меньше.

Но Гулю Каримову он ждал в тот вечер напрасно. Молоденькая медсестра в то самое время, когда полковник сдувал пыль с навороченного «Шарпа» и прибавлял звук песне «Все могут короли», плакала навзрыд, сидя на жесткой и скрипучей солдатской койке в своей комнате. За окном шелестел песком ветер «афганец», сквозь тонкие фанерные перегородки доносились звуки музыки, звон посуды и разговоры; кто-то гремел в коридоре тазами, шумела вода, шлепали по линолеуму тапочки. Обычная женская общага, к которой Гуле не привыкать. Обычная, в общем-то, воинская часть. Обычные вокруг офицеры со стандартными шуточками и липкими намеками. И столовая более-менее, Гуля видала и похуже. Вот только пациенты в палатах не совсем обычные. Никто ее не подготовил, не предупредил. «Пой-

дем, познакомишься с контингентом…» Пошли по палатам. И там Гуле стало плохо. Вроде все знала и понимала: да, здесь война, тут стреляют, тут подрываются на минах. Но каким умом можно понять молодого офицера-таджика (лет 25, не больше), у которого по колени ампутированы ноги. БТР перевернулся и придавил, словно огромными тисками. Лежит на койке красивый парень с хорошими белыми зубами и плачет. Культи перебинтованы, сквозь бинты просочилась кровь. Потом ее подвели к солдату, у которого осколком от кумулятивной гранаты срезало нижнюю челюсть. Кунсткамера! Фильм ужасов! Затем при ней сделали перевязку сержанту с неимоверно распухшим синюшным лицом без глаз, без губ и без носа – БМП подорвалась на мине, солдата вышвырнуло взрывной волной через люк, и он ударился лицом о броню. Носовой хрящ расплющился и вошел в носоглотку, все передние зубы раскрошились и вонзились в небо, оба глаза вытекли, и отекшие веки вывернулись наружу.

Гуля выбежала из модуля, закрывая ладонями лицо. Истерика по полной программе. Здесь привыкли, что новички так реагируют, кто-то криво усмехнулся и покачал головой: «Присылают же слабонервных!» Гуля плакала долго, даже подвывать начала. Ее соседке по комнате, высокой и худой медсестре Ирине, эти вопли скоро надоели, и она прикрикнула:

– А ну прекрати! Быстро возьми себя в руки! Не знала, куда едешь?

Гуля, безуспешно борясь с собой, покрутила головой – не знала.

– Теперь будешь знать! И хватит орать, людей только пугаешь!

Гуля в одно мгновение возненавидела эту грубую женщину, этот медсанбат, эту нищую и жестокую страну, в которой происходили такие страшные вещи. Возненавидела все, что было вокруг нее. Одиночество, отчаянье и боль охватили ее. Стемнело. Где-то за стенкой что-то шумно отмечали. Тихо звучал мужской баритон. В ответ раздавался визгливый женский хохот. «Как они могут?!» – с ужасом думала Гуля. К ней зашел ее новый начальник, ухоженный, плотненький капитан-анестезиолог. Сел рядом на койку, весело потребовал вытереть слезы. Потом сказал: «Ты им нужна».

Это было не красивое словечко, это была правда. Очень нужна была Гуля и безногому таджику, и солдату без челюсти, и сержанту без лица, и контуженному старлею с пулевым ранением плеча. Старлея звали Валера Герасимов. Когда ему разрешили вставать, он стал ходить к ограде за столовую. Там был укромный закуток в тени столовой, стояли наспех сколоченный стол и скамейки. Друзья приходили к Валере каждый день, приносили сигареты, холодный шашлык, самогон, который называли мадерой. Они сидели там тихой компанией, изредка выдавая свое присутствие взрывным хохотом. Гуля вычислила Валеру.

– А ну-ка разбежались быстро, пока я командира не по-

звала! – сказала она строго и шлепнула ладонью по столу. Подпрыгнули две пластиковые кружки. Хорошо, что уже пустые были.

– Уходим, уходим, – ответил командир взвода Сачков. Его представили к ордену Красной Звезды, но в штабе армии представление завернули. Сачков оказался беспартийным. Он заикался, а передний верхний зуб был частично сколот, оттого Сачков напоминал дворового хулигана.

Валера взял медсестру за руку и представил ее:

– Мой ангел. Она меня выходила.

Гуля покраснела. Она вовсе не сердилась и выследила Герасимова не потому, что рьяно следила за соблюдением режима. Валера ей нравился, и она неосознанно стремилась чаще попадать в поле его зрения и оказываться в центре его внимания.

– Может, твой ангел выпьет с нами? – предложил Кавырдин, командир пятой роты, пьяница и дикарь, вжуть одичавший за год пребывания на блокпостах. Он приехал на базу всего на день – привезти «двухсотого» и забрать молодое пополнение. Лицо его было черным и сморщенным от солнца и соляры. Его рота живым и бессменным щитом стояла вдоль дороги между Южным Багланом и Пули-Хумри. Кавырдина обстреливали каждый день, то сильно, то не очень, а он огрызался и пил. Духи жгли колонны, Кавырдин растаскивал горящие машины, матерился в эфире, прикрывал броней хрупкие КАМАЗы, плевался свинцом по кустам и об-

ломкам дувалов и снова пил. Он вместе с бойцами месяцами спал в технике, жрал стылую, крошащуюся баночную перловку, баловался косячками, настаивал брагу в канистрах из-под бензина и регулярно заваливал проверки по политической подготовке. Его ругали, объявляли выговора, его фамилия стала нарицательной, этаким синонимом разгильдяйства и безответственности, ему грозили разжалованием, требовали немедленно исправить недостатки, оформить ленинскую комнату, завести журнал политзанятий, законспектировать труды классиков марксизма-ленинизма, но Кавырдину все было похер, он не исправлялся, он безостановочно продолжал отстреливаться, плеваться свинцом, лезть в огонь, материться в эфире и пить. Он был нерадивым офицером, и эта нерадивость отпечаталась на его лице: с него не сходило выражение вечной вины перед сытыми и облизанными генералами из Ташкента и Москвы. Простите, чмо я болотное, а не идейно-образцовый офицер; простите, что мне некогда обустроить ленинскую комнату, расписать планы занятий с личным составом, посадить цветочки вокруг палатки, помыть бойцов, постирать обмундирование, навести на щеках здоровый румянец, а глаза заполнить молодцеватым блеском – таким, как на картинках в общевоинском уставе; простите, что я, как жаба болотная, месяцами сижу в промасленной, прогорклой бээмпэшке, гляжу в триплекс, выискиваю среди развалин чалмы, что я грязный, небритый, худой, злой, что мне жопу подтереть нечем, потому как почту привозят

всего несколько раз в год, и газет «Правда» всем не хватает; простите, что духи упертые, как черти, и стреляют изо дня в день, и у меня уж сил нет воздействовать на них, уж сколько патронов, подствольных гранат, снарядов перемолотили – не счесть, а толку все никакого, простите, простите, простите… Ах, вот опять стреляют, «летучку» сожгли, я бегу в огонь, я стреляю, я матерюсь в эфире, я вытаскиваю людей из пламени – черного, копотного, – вот такая я грязная и безответственная скотина, нет у меня ленинской комнаты и, наверное, никогда не будет…

И своими закопченными пальцами с обломанными ногтями он взял пластиковую кружку (позаимствовали в инфекционном отделении), плеснул в нее самогона из синей бутылки из-под пива и придвинул Гуле.

Гуля, ангел Валеркин, даже сразу не сообразила, как ей поступить. Безобразие, конечно, это все, но какое забавное безобразие, какое милое, и парни какие хорошие: словами не передать, почему с ними рядом так приятно, так тепло и просто. Гуля зажмурила глаза от собственной дерзости, взяла кружку.

– Ну, ладно. За здоровье. За ваше здоровье…

Выпила, поперхнулась, закашлялась. Увидел бы эту сцену командир, так сразу бы слюной подавился. Медсестра квасит с больными за модулем!

Что-то привязало ее к Валерке. Она восхищалась им. Она видела его полураздетым на перевязках, и ей представля-

лось, что она видит его душу, такую же обнаженную, очень простой конструкции и очень живую. В нем удивительно сочеталось жизнелюбие с пофигизмом. Он на все смотрел с тем снисхождением, с каким взрослый человек смотрит на заботы и проблемы ребенка. Он ничего не боялся, он словно был бессмертным, как бог, и ему принадлежал весь мир. К своему ранению он относился так, будто его тело было дешевым, но вполне надежным приспособлением, которых в каждом магазине – завались, лежат на полках, покупай не хочу, если надо будет, то поменяю на новенькое; да что ж ты так трясешься над этой раной, да фиг с ней, налепи пластырь и давай лучше о любви помурлычем; какая война? да черт с ней, с этой войной, нашла, чем голову забивать, лучше ответь, знаешь ли ты, как из сухого печенья и сгущенки торт сделать? Тогда слушай, рассказываю… И так с ним было хорошо, так спокойно, так просторно, словно рассыпались вокруг них все стены и препятствия, и повсюду – только зеленые бескрайние поля, да голубое небо…

Она влюбилась в него, как идиотка.

Начальник политотдела подослал к ней помощника по комсомолу Белова. Тот, несмотря на свое потное и пахучее телосложение, умел расположить к себе женщин. Отвел Гулю к фонтану, прогнал бойцов, скребущих жесткими вениками по дорожкам, и начал издалека. Вот, мол, приближается ленинский зачет, надо законспектировать работы да выполнить поручения, и вообще пора включаться в активную

жизнь подразделения, принимать участие в выпуске стенной газеты… давай-ка присядем… и тут еще вот какое дело… понимаешь, здесь ты оказалась не случайно, тебя должны были направить в полковой медпункт в Пули-Хумри. Понимаешь, жуткое место, сплошной тиф и гепатит, жара, пыль, грязь, привозная вода. Понимаешь, молодые женщины там за год в беззубых старух превращаются… Но вот благодаря усилиям Владимира Николаевича тебя, понимаешь, оставили здесь. И теперь он как бы берет над тобой шефство. Понимаешь, здесь женщины сами по себе не могут быть. Восточная страна и все такое. Здесь женщины должны находиться при мужчине… Так положено. Такая традиция… Вот библиотекаршу знаешь? Так она как бы с Николаем Сергеевичем, ну да, со спецпропагандистом. А начальницу столовой знаешь? Она Рящучка, то есть, она с замом по тылу Рященко… Понимаешь, да? А ты, значит, с Владимиром Николаевичем… как бы… Он тебе, значит, всякое хорошее добро, а ты, значит, как бы с ним… Понимаешь, да? И если он тебя приглашает к себе, то отказываться не следует. И ни с кем, понимаешь, любезничать не желательно. А Герасимов, чтоб ты знала, женат, и вообще, он человек не хороший, у него потерь много, недавно под Айбаком у него половина роты полегла. На него уголовное дело завести хотели, да пожалели…

Говорит, а сам маслянистыми глазами поглядывает на ее ножки, ручки, пухлыми пальчиками щелкает, изо всех сил

старается, волнуется – а то как же! если бабе мозги как следует не вправит, то Владимир Николаевич ему яйца оторвет, и ни ордена, ни замены в Одесский округ.

– Я подумаю, – ответила Гуля.

– Ага, подумай, – согласился Белов. – Только побыстрее. Владимир Николаевич ждать не любит. И вообще, он такой человек, что если кто ему понравится, то это надолго. И если не понравится, то тоже, считай, навсегда… Это я про Герасимова. Не порти парню карьеру. Ты же его подставляешь.

И чтобы как-нибудь смягчить чрезмерную прямолинейность, Белов не по теме добавил:

– Ты в библиотеку еще не записалась? Книжки писателя Василия Белова читала?

– А что, это ваш родственник?

– А то как же!

– Отец, что ли?

– Еще спрашиваешь!

– Правда? – восхитилась Гуля.

Белов врал, к писателю Василию Ивановичу он никакого отношения не имел, но врал мягко, косвенно, подводя собеседников к тому, чтобы они первыми спросили о его родственных связях с классиком отечественной литературы. Вообще, помощник по комсомолу любил приврать. Ему не хватало славы и почета. У начальника политотдела он был мальчиком на побегушках, за что его презирали боевые офицеры. Белов страдал, сочинял о себе всякие геройские небылицы

и распускал слухи по дивизии. За пределы базы он выезжал всего пару раз, и как-то попал под обстрел. Белов ехал в кабине КАМАЗа, и как только загрохотали выстрелы, сжался в комок, спрятался за бронежилетом, который висел на боковом стекле, сунул голову под приборную панель. В роте сопровождения тяжело ранили солдата. Солдат ехал на бронетранспортере, прикрывал огнем незащищенные КАМАЗы, и пуля угодила ему в щеку, раздробила часть челюсти. Белов позже распустил слух, что во время боя был с тем солдатом рядом и буквально на себе вынес его из-под огня. Потом он красочно расписал этот эпизод в наградном листе. Многие офицеры при политотделе зарабатывали ордена не мужеством в бою, а собачьей преданностью начальнику.

– Что-нибудь случилось, Гуля? – спросил Герасимов, остановив медсестру в коридоре. – Ты уже не приходишь ко мне, как раньше, не разговариваешь со мной.

Она заглянула ему в глаза. Ее взгляд кричал о любви. «Я хочу, хочу приходить к тебе! Хочу разговаривать с тобой! Мне очень трудно без тебя!»

Гуля рассказала ему о разговоре с Беловым. Герасимов повеселел.

– Валера, я боюсь испортить тебе карьеру. Я не думала, что здесь все так… так сложно.

– Погоди, о карьере потом поговорим. Ты мне, пожалуйста, ответь прямо: кого выбираешь, меня или начальника политотдела?

Она ответила. И понеслось. Каждый вечер после работы она из медсанбата приходила к нему. Валера вырыл в кабинете погреб, посадил на петли оконную решетку, выставил в шкафу заднюю стенку и вырезал лаз в перегородке, отделяющей казарму от кабинета. Никто не мог застать его вместе с Гулей в кабинете. Начальник политотдела взбесился. Потом успокоился. И это спокойствие было страшнее, чем бешенство. Полковник хладнокровно продумывал, как он будет гнобить и ломать Герасимова. Для этого у него был весь арсенал средств, какие имеют в своем распоряжении начальники политических отделов во внутренних, «мирных» округах, плюс к этому суперсредство, жуткое чудище, пожирающее людей пачками, этакая геенна огненная – война.

Для начальника политотдела война сидела на цепи. Он знал, что она рядом, но лично ему вреда не принесет – цепь слишком короткая. Но у него была власть отправлять к чудовищу других людей. У него была власть, почти как у бога: ему было дано решать, кого подвергать риску, а кого нет, у кого отнять жизнь, а кому сохранить.

И этот жалкий старлей еще выпендривается???

Чувство тоски и самоуничижения накатывало на Гулю регулярно. Сейчас – особенно сильно, так, что сдавило в груди и стало тяжело дышать. Она встала под кондиционером, подставила холодному потоку лицо, закрыла глаза. Она – лишнее звено, осколок, засевший в человеческой плоти. Она ломает Валерке не только карьеру, она ломает его семью. Пар-

ня в Союзе ждет жена. Через пару дней они встретятся, и все встанет на свои места. Настоящая жизнь там, на севере, за речкой. А тут – сплошное сумасшествие, дурной сон, светопреставление. Здесь все *ненормально*.

Герасимов позвонил ей вечером, ничуть не опасаясь ушей коммутаторщиков.

– Ты почему не идешь *домой*?

– У меня нет дома, Валера. У меня койка в общежитии.

– Что-нибудь случилось? – после паузы спросил он.

– Ничего не случилось, Валера. Тебе надо готовиться к отлету в Союз. Я не хочу тебе мешать.

Такое уже было. Что-то похожее она уже говорила, когда накатывало в очередной раз. После ссоры они не встречались день, от силы два, потом все возвращалось на свои круги: кабинет (*дом*), диван из водительских сидений (*супружеское ложе*), жаренные на электроплитке кабачки с тушенкой (*домашняя кухня*), и как будто не было проблем, как будто не обречена была на гибель эта наспех сколоченная модель счастливой семейной жизни. Иногда к ним приходил командир взвода лейтенант Саня Ступин. Молодой и незрелый, совсем мальчишка. Ему еще не приходилось прочувствовать войну. Всего раза три ездил на сопровождение колонн, обошлось без обстрелов. Герасимов смотрел на него, и сердце его сжималось от жалости: «Детский сад какой-то, а не офицер!» Выпив с ним спирта, Валера откидывался на спинку стула, макал колечки лука в соль и говорил:

– Ты, Саня, ничего не бойся. Просто иди вместе со всеми и делай, что должен. И не стесняйся спрашивать. У меня спрашивай, у старшины спрашивай. Забей себе в голову: так надо. Не я, так другой. Мы будем делать это. Эта война выпала нам, от нее никуда не деться. Но запомни самое главное. У тебя есть родители, знакомые, друзья, девушки. Им всем будет очень жалко тебя потерять. Помни об этом. Все время помни об этом. Ты понял меня, Саня?

Саня ничего не понял. Как можно воевать, делать то, что предписано обязанностями командира взвода, и вместе с тем стараться угодить родным, которым будет очень жалко его потерять? Но он кивал головой, делал умное лицо, будто все понял и определил для себя стиль поведения на войне. Собственно, Валера Герасимов тоже ничего не понимал в этом вопросе. А вот Гуля, слушая разговор, искренне верила, что Валерка знает какую-то военную хитрость, и он обязательно останется живым, на крайний случай его только ранят. Легонечко. Как в первый раз, в плечо. И больше ничего с ним не случится, потому что с войной можно договориться, и Валерка договорился. А Саня еще «сынок», ему учиться и учиться надо.

Саня учился. Ротный был для него не просто командиром. Он был для него абсолютным авторитетом, истиной, библией, в которой были даны все ответы про жизнь и смерть. Саня платил ему своей верностью. Он знал про погреб и тайный выход через окно. Он часто провожал Гулю в женский

модуль и бегал за ней по просьбе Герасимова. Он был молод, жаден до женских ласк, а Гуля была ослепительно красива, но помыслы его в отношении подруги командира были всегда безупречно чисты. Она сама брала его под руку, когда они шли из полка в медсанбат, а Ступин деревенел от этой близости, немел и отвечал на вопросы девушки скомкано и невпопад. Она ему безумно нравилась, но у него ни разу не появилось даже мимолетной мыслишки, что можно было бы воспользоваться доверием командира и переманить Гулю к себе. В отличие от Герасимова Ступин был холост, и это было серьезным преимуществом. Ведь мог бы он запросто прижать ее к стене модуля в каком-нибудь укромном уголочке и, покрывая ее лицо горячими, как пулеметная очередь, поцелуями, предложить: «Выходи за меня! Распишемся в советском посольстве в Кабуле, нам выделят комнату в модуле, вместе заменимся в Союз, получим квартиру, будем жить в масле! Бросай ты на фиг этого Герасимова, у него куча проблем, не женится он на тебе никогда, у него жена, квартира, все на мази, ты для него всего лишь временная утеха, ППЖ, а я буду тебе настоящим и верным мужем. Да и не пью я так, как Герасимов!»

Сказал бы он так – и неизвестно еще, какие сомнения и замыслы родились бы в голове девушки. Но Саня был бесконечно далек от такой подлости. На Гуле лежало священное табу. Она принадлежала командиру. Это была женщина его ротного. Женщина Командира. И сей факт являлся для

Ступина абсолютной истиной, не подверженной пересмотру ни через годы, ни через столетья. Словом, гейзер лейтенантской святости, сотканной из житейской неопытности и юношеской наивности.

Ступин переживал за целостность этой бутафорной семьи так, словно это была его собственная семья. Он их мирил, сводил, склеивал, если что-то вдруг разбивалось. Он считал, что он просто обязан это делать, потому что, во-первых, семья – свята, а, во-вторых, Герасимов просто порядочный и очень хороший мужик, и все, что связано с ним, имеет безусловный знак плюс.

Как-то они сутки стояли на блоке, обеспечивали проход колонны десантно-штурмовой бригады. Кто-то из солдат, едущих на броне, подстрелил барана – неподалеку паслось стадо. Герасимов, чтобы избежать скандала, приказал спрятать барана в бронетранспортере. С ним и вернулись на базу, в автопарке освежевали, половину тушки отдали особисту, чтобы не было лишних вопросов, остальное Герасимов поделил между взводами. Окорок достался ему.

– Ты баранину умеешь готовить? – спросил он Ступина. – Дуй ко мне в кабинет, включай плитку и жарь. Гуля, наверное, уже заждалась. А я сбегаю к вертолетчикам за водкой.

Когда ротный пришел в кабинет, Ступин уже заканчивал готовить жаркое, расстелил на столе газеты, расставил кружки.

– А Гуля где? – спросил Герасимов.

– Она не приходила.

– Не приходила? Странно… Поскучай немного, я схожу за ней.

Вернулся Герасимов скоро. Молча швырнул фуражку в угол кабинета, с досадой пнул ногой табурет.

– Случилось что-нибудь? – спросил Ступин.

Герасимов ответил после недолгого молчания:

– Она обиделась на то, что мы задержались в автопарке, и ушла в модуль старших офицеров.

– А про модуль тебе кто сказал?

– Одна сволочь из политотдела… Убери третью кружку!

Герасимов поставил на стол бутылку водки, сорвал с себя ремень и портупею, зашвырнул их под диван.

– Наливай!

– Насчет модуля старших офицеров тебе могли сказать неправду, – предположил Ступин.

– Только не надо меня успокаивать. Все нормально. Отдыхаем… Тебе сколько раз надо повторять, чтобы ты налил?

– Валера, я не буду пить.

– Тогда топай, я тебя не держу! Баранину солдатам отдай.

Ступин зашел в казарму, расстелил койку, надел бушлат и вышел наружу. С наступлением ночи подморозило, и тонкий ледок ломко хрустел под ногами.

Гуля, оказывается, была в доме офицеров на фильме.

– Ты только не говори, что я за тобой ходил, – попросил Ступин.

– Он думает, что я была в модуле старших офицеров? – уточнила она. – Кто это сказал?

– Он не говорит.

– Какой ужас, – прошептала Гуля. – Валера меня убьет.

Он повел Гулю к Герасимову, собираясь защищать честное имя девушки. Его беспокоило то, что у Герасимова в кабинете был пистолет. Самому Ступину еще никогда в жизни не доводилось переживать ревность, но он искренне верил в то, что она способна затмить сознание. А если ревность подпитать водкой… Месяц назад пьяный прапорщик, «замок» хозвзвода, на почве ревности швырнул в окно своей женщины гранату РГД. Рвануло так, что вылетела оконная рама. Женщину спасло только то, что в этот момент она спала на койке, и взрывная волна, пропитанная дробленным металлом, прошла над ней. Прапорщика не судили, у него было много друзей на базе, он снабжал народ дрожжами.

Дрожжи были сухие, специально подготовленные для полевых условий. В сладкой теплой воде у них начиналась реакция, не хуже чем в водородной бомбе. Брага по виду и консистенции напоминала клейстер. Черпали и пили ее кружками, студенистые комки плохо размешанных дрожжей разжевывали и глотали. Кто еще не привык к этому пойлу, тех иногда тошнило, но привыкали к местной «мадере» удивительно быстро и легко.

Герасимов брагу пил крайне редко, предпочитал раскошеливаться на водку. На войне шерстили брошенные дуканы,

находили шароп в полиэтиленовых кульках. Этот местный афганский самогон из кишмиша был необыкновенно дурным на вкус и запах, но по мозгам давал неплохо. После реализации, спускаясь к технике с блоков, после подсчета потерь, после всего пережитого зловонный шароп шел как родниковая вода.

На базу шароп попадал редко. Это была желчь войны, лимфа души, слезы мертвых. Мутная гадость с низшим пределом качества была незаменима на войне. На новогоднем вечере в офицерской столовой была только водка, замечательная советская водка с золотистыми пробками. Для женщин заготовили лимонную шипучку «Си-си» – если смешать ее с водкой, то получится шампанское. Пригласительные выдали всем офицерам полка, свободным от несения службы в новогоднюю ночь, и, разумеется, всем женщинам. Герасимов и Гуля приводили себя в порядок в кабинете. Герасимов постирал форменную повседневную рубашку и стал сушить ее утюгом. Гуля надела длинное платье с золотистым люриксом, которое купила в дукане, туфли на высоком каблуке, затем надолго приросла к зеркалу. По казарме поплыл чарующий запах косметики. Солдаты проходили мимо кабинета командира роты, невольно замедляли шаги и шумно втягивали воздух носом. У многих от волнения стали слезиться глаза. Они привыкли к запаху горелой солярки и пыли, и от запаха духóв, который вырвал из глубин памяти что-то светлое, счастливое, доброе и веселое, они впадали в сту-

пор. «Что-то похожее уже было в моей жизни», – думали бойцы, поводя носом у двери кабинета, и не могли поверить, что когда-то давно у них были новогодние вечера, девушки, танцы, музыка, головокружительный запах духов… Безумно, безумно давно это было, да и было ли вообще?

В роте стали собираться друзья Герасимова, чтобы всем вместе отправиться в столовую. Пришел холеный, стерильно-чистый, гладко побритый доктор Кузнецов из медсанбата; с шумом подвалили старший лейтенант Зайцев, замкомандира восьмой роты и командир минометного взвода пятой роты Хлопков, оба подвыпившие, оба с усами, высохшие, агрессивно-веселые; забежал на секунду и исчез в неизвестном направлении Гена Спиваков, начальник связи батальона. Герасимов стоял в клубах пара, прижимая горячий утюг к рукаву рубашки. «Саня! – позвал он Ступина. – Забирай Гулю и идите в столовую. Я подойду чуть позже!»

Ступин, взволнованный доверием и гордый от того, что такая красивая девушка идет с ним под руку на глазах у всего полка, спотыкался всю дорогу. Гуля смеялась, придерживала его: «Ты что, уже отметил Новый год?» Она аккуратно переступала через металлические скобы на бетонных плитах, и сердце ее билось часто и счастливо. Она идет на новогодний бал! А там – свет, музыка, накрытые столы, гости! Какое счастье! Как трепещет ее душа от восторженных предчувствий! Как у Золушки, вырвавшейся из нищеты и унижений и поднявшейся на самый пик красоты, любви и восхищения.

Но – ай-ай-ай! – какая досада! В зале уже было полно народа, и все места заняты. Из штаба и политотдела дивизии пожаловали незваные гости. Наглость – второе счастье. Сначала здесь погуляют, потом, под самый Новый год, к себе пойдут. И плевать им, что места в столовой определены только для офицеров и прапоров полка. Ступин переводил отчаянный взгляд от стола к столу. Хоть бы Гулю посадить. А она уже сама увидела подруг, те ей руками махали, свободный стул показывали. Она выпорхнула, побежала в центр зала собирать овации и восторженные взгляды.

Через несколько минут подошел Герасимов. Он встал в дверях на холодном сквозняке и с усталой печалью оглядел веселящийся зал. Там уже появился Дед Мороз с ватной бородой и гнусавым голосом «сына писателя» Белова. Зажурчала, забулькала в кружках халявная водка. Женщины дружно хихикали и аплодировали. Незваные гости прятали лица и жадно хлебали спиртное. Ступин сжимал кулаки и был близко к тому, чтобы начать выкидывать чужаков из столовой. Обидели его командира!

А Герасимов встретился взглядом с Гулей, улыбнулся ей стылыми глазами и пошел в казарму.

Ступину показалось, что мороз забрался ему за воротник. Убьет командир Гулю! Как пить дать убьет!

Он застрял на пороге столовой, не решаясь оставить Гулю и побежать за командиром. А она – счастливая, молодая, цветущая – даже не догадывалась о нависшей над ней опас-

ности. Она вырвалась из грязи и жестокости войны, она вернулась в давно оставленный ею мир, где сердце, ожидая счастья, бьется в сладкой истоме, где сверкает новогодняя мишура, и неслышно кружатся снежинки, и празднично пахнет духами и спиртным, и перед глазами кружится хмельная круговерть из конфет, улыбок, ватной бороды и музыки… Танцы, танцы, тоненькие каблучки цокают по бетонному полу, счастья вам, счастья вам!

Бедный Ступин, еще не видевший большой крови, приходил в ужас от своей фантазии: он видел Гулю, лежащей на полу в бурой луже, и вокруг нее люди, люди, все перепуганы, кто-то зовет врача, а она лежит, тростиночка, в золотистом платье в люриксом, и край приподнят, бесстыдно оголяя бедро, обтянутое чулочком. Врача, врача!

Он дождался, когда девушка *снова стала видеть*, когда оглядела зал потухшими глазами, что-то сказала подругам, накинула на плечи чей-то бушлат и пошла к модулю шестой роты. Ступин, как тень, за ней. Перебежками, от угла к углу, от умывальника к сортиру, от клумбы к щиту наглядной агитации. Если Герасимов ее убьет, то Ступин убьет Герасимова. А потом сам застрелится. Красиво и жутко!

Гуля зашла в кабинет. Ступин, сдерживая дыхание, присел на койке, прислушался. Крики, плач Гули, грохот мебели. Дверь распахнулась, Гулю словно вытолкнули оттуда. Девушка, вбивая каблуки в пол, стремительно пошла к выходу. На порог, скрипнув сапогами, выступил Герасимов. В гали-

фе и тельняшке. Руки в карманах. Пьяные глаза полны сдержанного упрямства.

– Дорогу в женский модуль найдешь? Или проводить? – крикнул он вдогон. Повернулся, скрипнув сапогами, увидел Ступина. На лбу обозначилась глубокая морщина. Кивнул, зайди, мол. В кабинете налил лейтенанту полстакана водки, придвинул ломтик хлеба, вскрытую банку тушенки.

– С Новым годом, бля…

Потом лег на диван, руку – на лицо, и затих.

Через десять минут Ступин был уже в женском модуле. Фанерная хибара дрожала от музыки. Из комнат доносились смех, звон посуды, грохот сапог. По коридору двигались расплывчатые тени офицеров. Часовой, оказавшийся в самом эпицентре праздника, изрядно захмелел, оперся о стену и глупо улыбался. Ступин здесь еще никогда не был. В этот рай входили только самые ушлые, смелые и проворные, или те, кто уж совсем не мог обойтись без женщин и готов был платить. Таких, как Ступин, здесь еще никогда не было. Он постучал в комнату, где жила Гуля. Второй раз стукнуть в дверь не успел, Гуля приоткрыла дверь, прищурилась. В ее комнате было темно, и в тусклых лучах коридорного света ее шелковая ночнушка стала переливаться золотистыми бликами.

– Пошли! – скомандовал Ступин.

Она сопротивлялась недолго и весело. Смеялась, когда Ступин пытался ворваться в комнату, плеснула в него водой

из кружки, а он, стараясь не задерживать взгляда на ее обнаженных плечах, играл роль бесстрастного и тупого надзирателя, для которого нет ничего важнее, чем доставить девушку по нужному адресу и вручить ее в распоряжение своего командира. И все. И вроде как плевать ему, что она такая красавица, что сейчас в его власти, что почти обнажена, и лицом можно почувствовать тепло ее молодого стройного тела, и можно даже прикоснуться к ее руке, а можно разыграться как следует, завестись в азарте, когда прощается многое, схватить ее в охапку, зарычать, как лев, уткнуться лицом в ее живот, чтобы ей стало щекотно, чтобы рассмешить до слез, поднять на руки, и тогда правая рука окажется на ее ляжках, а левая обовьет спину, заберется в нежное подмышечное тепло, и это все будет как бы игра, как бы понарошку, и останется всего один шаг до койки, и надо будет всего-то чуть-чуть склонить голову, чтобы достать своими губами ее губы… Но Ступин – сама святость, чистый, честный мальчишка, прячущий свое возбуждение как величайший позор и грех, терпеливо дождался Гулю в коридоре, подал ей руку и повел к командиру.

Ибо это командира любимая женщина, ему принадлежащее сокровище, его собственность, его добыча; и вообще, они вдвоем такая красивая пара, и Ступину так хочется, чтобы у них все было хорошо, чтобы любили друг друга долго-долго, до конца жизни, преодолевая тяготы и несчастья вдвоем, крепко держа друг друга за руки. Только так должно

быть, и не иначе. И у него, Ступина, когда-нибудь будет так – верно, чисто и красиво. Как у командира с Гулей.

Ступин строил идеальную модель любви.

Утром они пригласили его на кофе. Оба подпухшие, невыспавшиеся, с красными глазами, но веселые, счастливые.

– Саня, мы твои должники, – сказала Гуля. – Ты сохранил нашу семью.

Это было слишком громко сказано. Гуля всегда была склонна преувеличивать. Она забывалась. Она говорила «мой Валерка», что можно было оспорить. Она часто употребляла слово «всегда»: «я буду любить тебя всегда», «мы будем вместе всегда»… Бетонная дорога, которую она накатала для них двоих, вдруг со страшным треском лопнула, ощетинилась арматурой, раздробилась на острые камни. Валерке дали реабилитационный отпуск после ранения. Ему дали, а ей – нет. Он уедет, она останется. Мало того, он уедет к жене, он станет принадлежать ей.

Гулю обкрадывали среди бела дня, а она ничего не могла поделать, не могла возмутиться, закричать, позвать на помощь. Стояла у окна, глядя, как солдаты подметают территорию, и кусала губы. «Ну и пусть проваливает! Сейчас позвоню и пожелаю счастливого пути. Провожать не буду. У меня много работы. Надо сказать девчонкам, чтобы освободили мою койку в женском модуле. А то раскачивается на ней всякий, кому не лень».

Она подошла к телефону. Чтобы связаться с коммутато-

ром, надо было покрутить ручку, приводящую в действие электрический генератор. Волна тока полетит по проводам, где-то на узле связи зазвенит звонок. Девчонки рассказывали, что такими телефонными аппаратами наши офицеры пытают духов, заставляя их признаться в своих злодействах. Два проводка к ушам – и давай крутить ручку. А то еще к половому члену привяжут. Не смертельно, но жутко больно. А кто первый додумался до этого? Не в Афганистане же эта идея снизошла на чью-то озлобленную голову!

Она вынула из гнезда трубку – тяжелую, черную, с тангентой посредине. Нажмешь на нее – и становится слышно собственное дыхание. Можно поговорить с собой, поплакаться, пожаловать, посетовать. Чтобы покрутить ручку, надо придерживать аппарат. Неудобная штука, рук не хватает.

– Линия занята, ждите! – грубо ответил связист.

Линия занята. В проводах мерцают электрические сигналы, металлические мембраны дребезжат, словно их пытают, измученные током слова воспроизводятся в искаженном, угловато-колком виде. Если бы слова текли по проводам подобно телеграфной ленте с печатными буковками, то можно было бы надрезать провода и вылить слова на стол, а потом, как паззлы, составить из них предложения. Получилось бы что-то вроде этого:

– Когда Герасимова выписали?

– Четыре дня назад.

– Ему разве положено отбывать отпуск при части?

– Что вы, Владимир Николаевич! В Союзе! Только в Союзе! Может поехать в санаторий, может отдыхать в семье. По выбору.

– Так какого черта он мне уже три дня глаза мозолит и не уезжает?

– Так вылетов, говорят, целую неделю не будет. «Стингеры», вроде бы, у духов появились…

– Я в курсе… Хорошо, Гриша, спасибо за информацию.

Через минуту начальник политотдела позвонил командиру отдельного вертолетного полка Воронцову.

– Сергей Михайлович, когда ближайший борт на Союз?

– Не раньше, чем через неделю. Все вылеты штаб ВВС запретил. А вы в Союз собрались, Владимир Николаевич?

– Да не я. Надо одного гаврика срочно отправить. Он после ранения, ему на реабилитацию. Жалко парня.

– Ничем не могу помочь. Пусть ваш гаврик потерпит маленько, подождет. Как командующий даст добро, я его первым бортом отправлю.

«А хрена с два! – подумал начпо, опуская трубку. – Колонной поедет. Завтра же! Первой же колонной наливников до Термеза!»

Ему не терпелось сообщить эту новость Герасимову лично. Он проявит заботу об офицере. В глазах начальника политического отдела будет плескаться море тепла и добра. «Что ж ты здесь протухаешь, дорогой мой? Гони в Союз, домой, к любимой жене! Туда, где березки, пиво и красивые

женщины. Туда, где не стреляют, не рвутся мины, где в магазинах принимают рубли, где будешь спать с супругой на белоснежных простынях, и не надо будет отмахиваться от мух и кашлять от пыли. Завтра с утра хватай свои монатки, беги на КПП и прыгай в бронетранспортер. Я распоряжусь, и тебе выделят лучшее место. Поедешь, как на правительственной «Чайке». С ветерком, с комфортом. Каких-нибудь двести километров, и ты выедешь из этой проклятой страны, а там Термез, автобусы, школы, больницы, пионеры, памятники, парки и скверы. Подарки жене купил? Она, поди, ждет – не дождется тебя. Ночами не спит, всю подушку проплакала, дни и часы считает, когда увидит тебя, любимого, родного…»

Начпо без свиты в полк не ходил, взял с собой Белова. Под торопливую и бессвязную болтовню помощника по комсомолу дошли до модуля шестой роты. На площадке перед казармой проходил строевой смотр. Рота готовилась к сопровождению колонны. Перед каждым бойцом на асфальте лежала стопка вещей первой необходимости. Без них солдат – все равно, что голый. Все равно что черепаха без панциря. Что улитка без ракушки. Просто кусок молодого, восемнадцатилетнего мяса. И вот она, вся драгоценность, греется на солнце: каска, бронежилет, раскладка с магазинами и сигнальными ракетами, радиостанция (кому положено), коробки с сухим пайком на три дня, фляга с водой, цинки с магазинами, вещмешок, индивидуальный перевязочный пакет.

Но это для начала, мелочь. Еще будут автоматы и пулеметы, минометные плиты и стволы, мины в ящиках, гранатометы и гранаты к ним, да еще будут раненые вместе со всем их снаряжением, еще будут душманские трофеи, еще будут кровоточащие раны, крики и набухшие от крови бинты, еще будет ужас и грохот стрельбы – и все это нести в гору, в гору, на жаре, на жаре, под крики сержантов, с мыслями о далеком-далеком доме, которого, наверное, не будет, никогда уже не будет.

– Рота, смирно! – крикнул лейтенант Ступин так отчаянно звонко, будто наступил на колючку. Солдаты вытянулись, как рыбы на кукане. Медлительные, отрешенные, задроченные войной, караулами и строевыми смотрами, войной, караулами и строевыми смотрами. Истощенные, закопченные, запыленные, обреченные – хорошо, что вас мамаши не видят и не знают, как вы врете им про службу в Монголии.

– Где командир роты?

– В расположении. Позвать?

Нет, он сам зайдет к нему в кабинет. Он прихлопнет его вместе с Гулей, как тараканов. У лейтенанта глаза бегают, он чувствует опасность, но предупредить командира не может. Какое удовольствие ловить с поличным и убеждать, что начпо не обмануть и не провести, потому что он не только начальник, он сильный и волевой человек, он лидер, он вожак, от него здесь зависит все. Полковник выстрелил собой по казарме, быстрым шагом подошел к двери кабинета, стукнул

кулаком, заведомо зная, что она заперта.

– Герасимов, открывай!

Белов подтявкнул, дублируя приказ.

На двери лаково блестит большая фанерная заплатка. И новый замок. Который по счету?

– Герасимов!!

– Командир роты, немедленно откройте! – добавил помощник по комсомолу и ударил по двери кулаком, как молотком.

– Ломай, – сквозь зубы процедил начпо, чувствуя, как в его груди что-то твердеет, тяжелеет, и становится трудно дышать. Он замахнулся в третий раз. Рука у полковника тяжелая, лучше не попадаться.

– Да, товарищ полковник…

Начпо и помощник обернулись. Герасимов стоял за его спиной. Глаза издевательски веселые: ну что, съел в очередной раз?

– Открывай, – едва разжимая зубы, выдавил начальник политотдела.

Герасимов звякнул ключами, раскрыл дверь, предусмотрительно отошел в сторону, пропуская гостя. Комсомолец липкими глазками заглядывал в кабинет через плечо начальника. Начпо вошел плотно и динамично, словно поршень внутри шприца. Кабинет пуст. Но запах духов! Запах женщины! Запах *его* женщины! Она была здесь только что! Мгновение назад! Начпо не обманешь, он чувствует это мо-

лодое стройное тело, эти губы, впалые щеки и томные глаза! Он глянул на окно – на нем металлическая решетка. Он распахнул створку шкафа. Потом склонился и заглянул под диван. Потом под стол. Пнул табурет. Стиснул зубы до боли.

– Кто поведет роту на сопровождение?

– Лейтенант Ступин.

– Ты его проинструктировал?

– Проинструктировал.

– Что ж, пойдем, посмотрим. Список личного состава мне!

И вышел, двинув плечом зазевавшегося в дверях Белова. На улице поставил Ступина перед собой.

– Боевые листки взяли?

– Да!

– Карандаши, фломастеры?

– Так точно!

– Показывай!

Ступин вытряхнул вещмешок рядового Матвеева, который помимо того, что должен был стрелять, бежать, наступать, атаковать, окапываться, отстреливаться, прикрывать товарищей, окружать, прочесывать, перевязывать, ползти и терпеть, обязан был в свободное от боя время выпустить боевой листок, в котором отметить отличившихся и пожурить нерадивых бойцов (если, конечно, останутся живы). На асфальт выпал тугой свиток, на торцы которого были натянуты презервативы – чтобы не помялся, не раскрутился и не

промок.

– Это что?!! – взвыл начпо и херась Ступина свитком по лицу! – Агитаторы и политинформаторы к работе готовы?! Тезисы последнего пленума ЦК КПСС изучили?!! Кто мне ответит?!!

У начпо слюна выступила на губах. Солдаты растерянно переглядывались, тупо разглядывали сложенные у ног бронежилеты, коробки с патронами, рассованные по секциям, словно ворованные яблоки по карманам, гранаты. Они не понимали, о чем он говорит. Какой пленум? Зачем он им? Не подохнуть бы, на мину не наступить бы, не схлопотать пулю, и уж, конечно, не попасть бы в плен, не дай бог, не дай бог…

– Рота не готова к сопровождению! – выдохнул начпо. – Герасимова сюда! Где Герасимов?

– Командир роты! – тявкнул Белов.

– Да, товарищ полковник…

Он опять за спиной начпо! Привидение, а не офицер, как из-под земли выскакивает! И опять в глазах насмешка. Наглый, развратный, омерзительный тип, недостойный звания коммуниста! Сука, падаль, дерьмо! Обласканный, обцелованный незаконной женщиной, его, начальника политотдела женщиной! Сейчас ты у меня поулыбаешься!

– Смертные гильзы у всех есть?

Не дождавшись ответа, схватил за плечо солдата, который стоял ближе всех, отогнул край воротника. Там была пришита гильза. Внутри нее должна быть скрученная до толщины

спички бумажка с фамилией, именем, отчеством, группой крови и домашним адресом.

– Чем дырки заделали?

– Глиной.

– Была же дана команда хлебным мякишем! Крепко держится?

Начпо потянул гильзу изо всех сил, так, что боец не устоял, качнулся вперед, наступил полковнику на ботинок.

– А если осколком срежет? Если сгорит к едрене-фене? Если ему полтуловища вместе с этой гильзой оторвет?

– Верхнюю или нижнюю половину? – уточнил Герасимов.

Солдат побледнел. Речь шла о его туловище. Его уже резали, разрывали на части, сжигали. Он представлял себя то без верхней половины туловища, то без нижней. И та, и другая картина были омерзительными.

– Ты мне тут не умничай! – прорычал начпо.

– Данные на солдата имеются не только в гильзе, – пояснил Герасимов. – На кармане брюк хлоркой написана фамилия.

– Одной фамилии мало! – Начпо не знал, к чему придраться, и обрушил свой гнев на то, что подвернулось. – Нужны еще имя-отчество, число и месяц рождения, домашний адрес, имена родителей…

– Все эти данные я знаю.

– Наизусть?

– Да.

Начпо поспешил поймать ротного на слове.

– Список личного состава мне!

Ему принесли список. Начпо клокотал от острого желания унизить Герасимова.

– Я называю фамилию, а ты продолжаешь. Поехали! Василенко.

– Игорь Николаевич, – тотчас по памяти ответил Герасимов. – Родился тринадцатого января шестьдесят четвертого года в селе Свердловка Липовецкого района. Отец Николай Иванович, мать Тамара Петровна.

– Вознюк! – выхватил начпо следующего из списка.

– Василий Иванович, шестнадцатого марта шестьдесят третьего года рождения, село Бортниково Тульчинского района. Отец Иван Владимирович, мать Зоя Александровна.

Солдаты и Ступин оживились от восхищения. Те, чьи фамилии были названы, зарделись от гордости и волнения. Ротный произнес вслух название родного села! И его услышал сам начальник политотдела. Такая честь! И живописное Бортниково, утонувшее в зеленых облаках садов, словно оторглось от верхних пластов украинских степей, с треском, с ревом разрывая корни вековых ветелок, с белеными хатками, солнечными стогами, с плетнями, увенчанными рыжими кувшинами, с тенистыми рвами и оврагами, с разбитыми дорогами, с коричневыми стадами – взлетело, подобно огромной летающей пицце, пронеслось над морями и горами и приземлилось где-то неподалеку, вон за той ржавой го-

рой, осыпанной песком и пылью; слышите, как мычат коровы и звенит бубенчик на шее белой козы, обдирающей сочную ветку ивы? Герасимов все там знает. От Герасимова, как от бога, ничего не скроешь. Он – солнце, он выше всех, он все видит и все слышит, что делается во всех этих Бортниковых, Свердловках, Глазовых, Шауленых, Запольях, Заречьях, Житнях, Сиховых, Васильковых, Лесных, Перевальных, Зубровках, он родом изо всех этих сел и деревень, он плоть от плоти солдатской, у него под сердце комок земли оттуда…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.